

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ НАХИЧЕВАНЦЕВ



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ НАХИЧЕВАНЦЕВ

Н.С. АВДУЛОВ, Н.В. МИРЗАБЕКОВА

**М.С. ШАГИНЯН.
НАХИЧЕВАНЬ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ**

Ростов-на-Дону

ООО «Ковчег»

2013

ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Шагинян

Авдулов Н.С., Мирзабекова Н.В.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН. НАХИЧЕВАНЬ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ. —
Ростов-на-Дону, ООО «Ковчег», 2013. — 64 с., илл.

ISBN 978-5-91011-072-8

Книга «Мариэтта Шагинян. Нахичевань в жизни и творчестве» продолжает серию «Жизнь замечательных нахичеванцев». Мариэтта Сергеевна Шагинян — необычайное, редкое явление в нашей литературе. Она прожила долгую жизнь — ровно 94 года (1888 — 1982). Родилась и умерла М. С. Шагинян в Москве (причём, интересно заметить, в один день: 21 марта по старому стилю родилась, 21 марта по новому умерла). В то же время огромный отрезок её жизни связан с донским краем, с городом Нахичевань-на-Дону, откуда была родом её мать. Об этом периоде жизни Мариэтты Шагинян, о том, какое значение он имел в её личной и творческой судьбе, и рассказывается в этой книге.

Проект осуществлён в рамках культурно-просветительской программы Ростовской-на-Дону армянской национально-культурной автономии «Апага» (председатель — К. А. Казарян).

ISBN 978-5-91011-072-8

© Авдулов Н.С., Мирзабекова Н.В., 2013
© ООО «Ковчег», 2013

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ НАХИЧЕВАНЦЕВ

Н. С. АВДУЛОВ, Н. В. МИРЗАБЕКОВА

МАРИЭТТА ШАГИНЯН. НАХИЧЕВАНЬ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ

Ростов-на-Дону

ООО «Ковчег»

2013

Время, активно прожитое мною, я храню в памяти как великое время, и никакие трагические его страницы, ошибки или жестокости тех лет не перевешивают передо мной его исторического величия.

Я пишу о себе... Так встаёт передо мной прожитое прошлое. Оно никогда не мешало мне мыслить, писать и говорить то, что я думаю, в чём убеждена. И могу сказать в лицо моим детям и читателям: я не знала за эти творческие, рабочие мои годы ни лжи, ни фальши, ни соскальзывания с простой и прямой дороги чести. Не могу не сказать этой правды в конце жизненного пути, потому что в этой правде о себе я берегу как особенно дорогую для меня драгоценность историческую правду эпохи...

М. Шагинян



ВВЕДЕНИЕ

О Нахичевани-на-Дону, о его славных людях написано много хороших книг*. В них с разных сторон и с разной степенью глубины рассказывается об истоках появления на Дону армянского поселения, о созидательных делах его жителей, об их значительном вкладе в социально-экономическое и культурное развитие Донского края. Из них можно узнать много интересного, полезного и поучительного для наших современников. Прошлое, как известно, может научить многому доброму, если его изучать, помнить и находить в нём образцы трудолюбия, дружелюбия и человеческого достоинства, которые могут быть ориентиром для поведения в нынешней непростой жизни. Подлинные человеческие ценности не устаревают. Прошлая жизнь, как и сегодняшняя, многомерна, богата проявлениями мудрости, человечности, благородства, которые и в наши дни для многих людей сохраняют свою значимость. И прошлое, и современность неисчерпаемы. Их невозможно описать полностью, со всеми красками и звуками, со всеми взлётами и падениями. Это в полной мере относится и к Нахичевани-на-Дону. Каждый, кто описывал историю этого города, по-своему рассказывал то, что увидел, узнал, понял и оценил.

Серьёзный, неповторимый вклад в копилку знаний о городе Нахичевань-на-Дону внесла Мариэтта Сергеевна Шагинян. О Нахичевани она знала не понаслышке, и не только по документам и воспоминаниям других авторов. В этом городе жили её предки, многочисленные родственники со стороны матери, родители. Одно время жила здесь и она: училась, работала, вышла замуж, родила дочь. Здесь продолжалось её формирование как личности, как писателя, как гражданина. Её наблюдательность, её повышенный глубинный интерес к повседневной жизни нахичеванцев, к их обычаям, вкусам, увлечениям помогли накопить такой объём впечатлений, который позволил на протяжении долгих лет жизни в своих дневниках, письмах, статьях, художественных произведениях, воспоминаниях представить Нахичевань изнутри, осмысленно и уважительно. Её зарисовки о Нахичевани обогащают, расширяют и углубляют представления о жизни армян на Дону в прошлом и могут послужить более полному пониманию источников укрепления солидарности народов Донского края.

В этой книге рассказывается о Нахичевани в основном только то, что нашло отражение в творчестве Мариэтты Сергеевны Шагинян и в её огромном, блистательном наследии, только то, что связано с жизнью нахичеванских армян. Поэтому не случайно в книге приоритет отдан изложению текстов самой Мариэтты Сергеевны, в которых она подробно передаёт свои воспоминания, свои размышления о пережитом в Нахичевани, а также те уроки, которые получила на Дону. Эти тексты дают возможность получить дополнительно много ценных представлений как о Нахичевани, так и об авторе.

* См. Багдыков Г., Багдыков М., Бархударян В., Сидоров В., Смирнов В., Халпахчян О.

Глава 1. Из автобиографии Мариэтты Шагинян

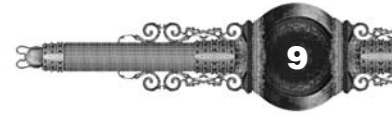


Пересказывать биографию Мариэтта Сергеевна Шагинян нет смысла. Об этом можно прочитать в других изданиях. С предельной раскрытостью и откровенностью она сама рассказывает о себе в «Автобиографии». Вот отчего здесь представлены только те страницы её жизни, которые связаны непосредственно с Нахичеванью.

«Отец мой был армянин, доктор медицины, один из первых армян-врачей, получивших приват-доцентуру в Московском университете. Предки его вышли из города Измаила, откуда при Екатерине II группа армян во главе с моим прапрадедом, «врачевателем Макарием Шагинянцем», была приглашена заселить новый городок Григориополь, созданный Потемкиным на молдавской земле. Мать, из старого армянского рода Хлытчиевых, родилась в Нахичевани-на-Дону, построенной армянами тоже в екатерининское время. Таким образом, и по отцу и по матери я принадлежу к так называемым русским армянам, на протяжении нескольких веков не жившим на армянской земле... С первого дня рождения родным для меня языком был русский и притом не только обычный городской язык русской интеллигенции. Кормилицы и няня у меня и моей младшей сестры были орловские крестьянки, и мы выросли на русских песнях и сказках, без которых во времена моего раннего детства (конец 80-х и начало 90-х годов) дети нашей среды обычно и не засыпали. Это не значит, что в нашей семье совсем не было никаких армянских традиций. Отец кончил Лазаревский институт и прекрасно знал родную литературу; в нашем доме часто бывали армяне из тогдашней армянской колонии в Москве. Еще студентом посещал нас ныне покойный искусствовед Алексей Карпович Дживилегов, приезжали братья Спендиаровы, тоже студентами (один из них стал впоследствии крупнейшим армянским композитором); постоянно бывали и московские армяноведы, — до сих пор храню книги и оттиски Юрия Веселовского с посвящением моей матери.

Родилась я в Москве 21 марта 1888 года в Салтыковском переулке. Первые детские впечатления связаны у меня с этой частью Москвы, а позднее с Садовой-Каретной. Помню очень хорошо рассказы о Ходынке, когда мимо нас с Ходынского поля везли на телегах трупы задавленных во время коронации Николая II. Наша няня тоже была на Ходынке и принесла оттуда «царский подарок» — эмалированную жестяную кружку розово-голубого цвета с двуглавым орлом и вензелем нового самодержца, которому народ дал эпитет кровавого, и узорный платок с горстью орехов, пряников и черных сладких стручков — любимое личное лакомство тех лет.

Отец мой был большой почитатель Гете; он подарил мне собрание сочинений Гете на немецком языке в издании Рэклям, и я до сих пор берегу этот читанный



и перечитанный отцовский подарок. Под влиянием любви отца к Гете сделалась гетеанкой и я. Передовой в своих политических взглядах, убежденный атеист, очень строгий с детьми, отец сам давал нам первые уроки, научил нас строгому режиму дня, чтению вслух, любви к записыванию прочитанного, к дневнику. В церковь нас никогда не водили, и, как армянки, мы могли не посещать в школе уроков «закона божьего».

Большим моим счастьем было то, что учение в средней школе совпало с годами нараставшего революционного подъема (1899 — 1905). Это отразилось и в отношении к нам преподавателей, и в проникновении к «живущим» запретных книг, и в провокационных вопросах учащихся на уроках «закона божьего», и в растущем интересе учащихся к политике, к газете, к общественной гласности. «Живущим» было труднее участвовать в этом пробуждении общества, но и к нам доходило каждое волнение, каждый интерес, захватывавший передовые его слои. Помню, как мы обсуждали реакционные постановления министра народного образования Касо, писали протесты, отправляли их в газеты, а потом начальство сурово доискивалось, кто из нас был автором этих «самочинных» выступлений. Каждое проявление самостоятельности в гимназии, все, что хоть сколько-нибудь походило на собственную «линию поведения», на «убеждение», — захватывало и увлекало нас.

Всем складом нашей семейной жизни я была уже подготовлена к таким революционным настроеньям. В последние годы жизни у отца было резкое столкновение с тогдашним министром Боголеповым, после которого он долго находился под негласным надзором полиции. Среди его пациентов были будущие большевики, в их числе оба брата Скворцовы-Степановы (одного из них он лечил от туберкулеза), и спустя четверть века, когда я впервые вошла в большой кабинет главного редактора «Известий» Ивана Ивановича Скворцова-Степанова, — он сам напомнил мне об этом времени и рассказал кое-что о моем отце, чего я и сама не знала. Писать я начала с раннего детства, как только вообще научилась письму, исписывала целые тетрадки, аккуратно просматривавшиеся матерью и отцом, и продолжала писать также в гимназии. Мы издавали, как водится, свой школьный журнал, сочиняли драмы, романы, стихи. Кое-что из этого раннего сочинительства в классе и вне класса приберег Иван Никанорович Розанов. На моем шестидесятилетнем юбилее он поднес мне образчик моего юношеского творчества, очерк «На вокзале при отходе поезда», отражающий революционные веяния тех незабываемых лет. К тринадцати годам я стала плохо слышать; это было начало отосклероза, грозящего мне сейчас уже полной глухотой. А между тем как раз в это время умер отец (осенью 1902 года), оставив мать и нас, двух девочек, без всяких средств. Мать вынуждена была перебраться к родственникам в Нахичевань-на-Дону, где один год прожили и мы с ней, поступив в Нахичеванскую-на-Дону казенную гимназию. Там, кстати сказать, я впервые встретилась с другой будущей советской писательницей Любовью Копыловой; она была на несколько «классов» старше меня и уже тогда

Начало журналистской деятельности Шагиняна можно отнести к совершенно юному возрасту. Когда ей было 15 лет, а именно 27 июля 1903 года, в газете «Черноморское побережье» был напечатан её стихотворный фельетон «Геленджикские мотивы». История этого удачного литературного опыта такова. Когда Мариэтта была на летних каникулах в курортном Геленджике, она столкнулась с вопиющей несправедливостью по отношению к людям — гулять можно было только по пляжу, а местными купцами был устроен на нём дровяной склад, чем, естественно, были все возмущены. Закон был на стороне купцов. И тут Шагинян посоветовали написать на злободневную тему. Так в газете появился стихотворный фельетон Мариэтты Шагинян, о котором она сама впоследствии вспоминала: «Я была поражена силой печатного слова: суд ничего не мог сделать, а четыре смешные строчки в газете подействовали». Впоследствии она ещё не раз убедится в правоте своих слов.

слыла среди учениц известной поэтессой. На следующий год мы с сестрой снова вернулись в Москву продолжать образование в гимназии Л. Ф. Ржевской, которую я и окончила с серебряной медалью в 1906 году. Рассказываю так подробно о средней школе, потому что обязана гимназии Ржевской очень многим; при всех недостатках старых школ (к ним я отношу и раздельное обучение обоих полов), — лучшие из них закладывали основы подлинного образования, воспитывали в учениках умение самостоятельно работать с книгой и выпускали их не только подготовленными для поступления в университет, но и с тем запасом чудесных молодых убеждений, с тем страстным желанием послужить народу, достойно прожить свою жизнь, который иронически называли в то время «идеализмом молодости». Прекрасный советский фильм «Сельская учительница» удивительно хорошо передает настроение учащихся тех лет. Многие из нас, кончая, мечтали о том, чтобы стать сельскими учительницами, да не во всякой деревне, а в самой глухой, сибирской. С одной из своих подруг, Аней Ковригиной, толстой и спокойной девочкой с гладко зачесанной косой, мы ухитрились даже побывать на приеме в министерстве у какого-то дежурного чиновника и проговорить с ним битый час, выспрашивая, есть ли в тайге вакансия, и заверяя его, что чем труднее, тем для нас лучше. Во время пребывания в седьмом классе гимназии я совершила первое свое путешествие за границу вместе с матерью, — целью его было излечить меня от глухоты, а деньги на него дали родственники. Мы побывали в Австрии, Швейцарии и Франции. Ушам моим это не помогло, но впечатление от большей свободы жизни, нежели в царской России, от полного отсутствия приниженности у крестьянского и рабочего населения, от образцового состояния дорог, выхоленности лесов, использования каждой пяди земли, было очень сильным и на переходе от средней к высшей школе послужило толчком к своеобразному «культуртрегерству», стремлению к культурному режиму дня и экономной трате времени.

Между тем по окончании гимназии прекратилась денежная помощь богатых теток. Надо было поступать на службу, а мне хотелось продолжать ученье. Но право ученья на Высших женских курсах стоило сто рублей в год.

Зарабатывать я уже начала с пятнадцати лет. Все виды труда, доступные тогдашней гимназистке, были мне знакомы: я готовила отстающих; писала лентяям-лицеистам Катковского лицея, где обучались мои богатые двоюродные братья, всевозможные сочинения не только на заданные темы, но и на заданные ими заранее отметки: на тройку, четверку, тройку с минусом, чтоб правдоподобней было; брала всякого рода переписку (тогда машинок еще не водилось, и мы переписывали «от руки»).

Большую роль в моей жизни сыграла также и нужда, пережитая в юношеские годы, — обстановка материальных лишений, постоянной борьбы за кусок хлеба для себя и близких, постоянного общения с простыми тружениками, у которых

снимала комнату, а подчас только угол. Помню, мы жили с сестрой один раз в крохотной комнатке без окон, с задвигающейся, как в купе, дверью, и с единственной мебелью, которая влезала в эту комнату, — двумя втиснутыми рядом койками. Всяко бывало, — и эта обстановка, роднившая меня с теми, кто, как и я, каждый день работал для насущного хлеба, создавала здоровое противоядие всякому утонченному декадентству.

На эти же годы падает и самое сильное впечатление, полученное мною, от книги и оказавшееся решающим для всего моего последующего литературного развития. Каждый свободный час я проводила в Румянцевской библиотеке (ныне Ленинской), помещавшейся в старом здании. Общий зал ее, который показался бы нынешней молодежи убогим и тесным, для нашего поколения был огромным. Вечерами, в свете зеленых огоньков его настольных ламп, с углами, пропадавшими в тени, с шелестом поворачиваемых страниц — он был дороже и любимей театра, соблазнительней зимнего, снежного парка, желанней любого развлечения. И всякий раз он охватывал жадное молодое воображение обещанием нескончаемых чудес, которые могли воплотиться в реальность по первому нашему желанию. Чудеса были заключены в каталоги, в бесконечные названия незнакомых книг, и каждое из этих чудес можно было тотчас сделать реальным, то есть заказать и получить для чтения. Хотелось читать все по порядку, охватить все области знания. И как-то раз, роюсь в каталоге, я остановилась перед странным названием: Аббат Галиани. «Беседы о торговле зерном». Как мог аббат беседовать о торговле зерном? Я тотчас заказала книгу, и эта пленительная вещь, когда-то покорявшая лучшие умы XVIII века, этот автор, цитируемый К. Марксом, — сделались решающим впечатлением, определившим на многие годы мои литературные вкусы. Написанная в форме Платоновых диалогов, книга Галиани впервые научила меня тому увлекательному анализу, какой можно назвать «философией хозяйства». Я многим обязана ей в своем последующем развитии как очеркист и газетчик».

О Нахичевани Мариэтта Сергеевна много позже писала: «...уютный, маленький Нор-Нахичевань. Это был обособленный город, отделенный куском голой степи и мелкорослой искусственной рощей, называемой «Балабановской», от крупного портового Ростова-на-Дону...».

«Вообще можно сказать, что Нахичевань был городом интернациональным, в котором совершенно спокойно уживались люди различных национальностей: армяне, русские, украинцы, евреи, татары, осетины, грузины и немцы. Если в 1897 году в Нахичевани армянское население составляло 72 процента, то в 1914 уже 40%. Нахичевань рос и развивался, все больше появлялось смешанных браков, все больше армяне рождались с Россией, донские армяне жили всегда жизнью государства Российского, всегда занимали активную жизненную позицию. Так, в Нахичеване были созданы: церковное попечительство о бедных армянах



Мемориальная доска на здании ростовского лицея №13 (до революции Екатерининской женской гимназии города Нахичевани), где в 1902-1903 годы училась Мариэтта Шагинян.

Нахичевана, Союз армянских учителей, Нахичевано-Ростовский н/Д Армянский комитет, Армянское благотворительное общество, Общество попечения о детях-армянах в Нахичеване, Армянское женское благотворительное общество. Общество содействия воспитанию детей дошкольного возраста, Армянское общество любителей драматического искусства. После Октябрьской революции 1917 года все эти общественные организации были закрыты.

Нахичевань-на-Дону не чужой для меня город; один год, сразу после смерти отца, я проучилась в тамошней гимназии, а по соседству, в Ростове-на-Дону, выходила газета «Приазовский край», главный источник моего заработка с 1906 по 1907 год.

В том же Ростове... я нахожу теперь постоянную работу: меня приглашают лектором по «Истории искусства» и «Введению в эстетику» в Донскую консерваторию, преобразованную из бывшей музыкальной школы Авьерино».

В Ростове-на-Дону у Мариэтты Сергеевны Шагинян была большая родня — Хлытчиевы, Сахаджиевы и другие. В детские и юношеские годы Мариэтта в каникулярное время часто приезжала сюда в гости. В 1902 году, после смерти отца Сергея Давыдовича, семья Шагинян — мама Пепронэ Яковлевна и дочери Мариэтта и Магдалина (Лина) — поселилась в Нахичевани-на-Дону, позднее ставшей неотъемлемой частью Ростова. В 1902—1903 годах сестры учились в Екатерининской женской гимназии (ныне лицей № 13), о чём свидетельствует мемориальная доска на здании. Потом была учёба в Москве, а затем насыщенный «ростовский период» (с 1915-го до ноября 1920 года).

След в жизни Ростова-на-Дону М. С. Шагинян оставила глубокий. Старые подшивки местной газеты «Приазовский край» (1910 и др.) сохраняют материалы, написанные молодой талантливой сотрудницей редакции. Четкую и страстную речь лектора Шагинян (она вела два лекционных курса — эстетики и истории искусств) могли слышать в музыкальной школе, руководимой Матвеем Леонтьевичем Пресманом и в Донской консерватории. Именно в Ростове вышли в свет сборник стихов, курс «Введение в эстетику», брошюра «Искусство сцены» и др. Вместе с мужем Яковом Хачатрянцем Мариэтта Сергеевна составила и перевела сборник «Армянские сказки». Больше того: от этого союза родилась в Ростове не только книга, но и любимая и единственная дочь Шагинян.

Но не только литература привлекала её. Молодая женщина поступила на работу в Доноробраз инструктором ткацкого дела, организовала «Первую Донскую прядельно-вязальную-ткацкую школу». Была её директором и преподавателем. В то же время она читала лекции в художественной школе имени Врубеля, основанной её сестрой Магдалиной, скульптором по профессии. Среди преподавателей школы были жившие тогда на Дону художники Мартирос Сарьян (знаменитый сын армянского народа, создавший в Ростове портрет М. С. Шагинян)

и Николай Лансере (из известнейшего рода Лансере-Бенуа, брат неповторимой Зинаиды Серебряковой).

В Ростове писательница была дружески близка также с композиторами М. Гнесиным и Р. Глиэром (в 1920-х оба стали профессорами Московской консерватории), последний даже сочинил романс «Ночью» на стихи Шагинян, написанные ею в 1909 году.

«Февральская революция застала меня на Дону, и вместе с развитием ее быстро определилась и моя классовая позиция — убежденная и страстная тяга к большевикам. Словно отсохшая шелуха отвалились старые взгляды, упадочные настроения, чувства тупика и конца жизни. С 1915 года я вела ежедневные дневники (веду их до сих пор) и записи всего пережитого на Дону с 1917 по 1921 год, сохранившие мрачные подробности разгула денкинщины, переменные этапы гражданской войны на Дону и, наконец, победу революции, а с нею свежесть утреннего мира, незабвенную для переживших ее радость начала новой жизни, «зари утренней», — почти целиком вошли позднее в мою первую большую после-революционную вещь «Перемену». Однако же начало новой жизни ознаменовалось для меня временным отходом от литературы в организационную работу советского учреждения, работу, связавшую меня с народом. Во время гражданской войны мы с мужем укрывали от белых у себя на квартире большевика Лукашина, студенческого товарища моего мужа, и беседы с ним, его долгие рассказы о ходе гражданской войны, его лекции о марксизме помогли мне лучше понять всю глубину происходящего на моих глазах грандиозного переворота от старой эры человечества к новой. Поступив тотчас после победы Красной Армии в Доннаробраз инструктором ткацкого дела, я стала ездить по станицам на митинги вместе с партийными работниками, организовала в Нахичевани «Первую Донскую прядильно-вязально-ткацкую школу», была ее директором и преподавателем, читала лекции рабочим на «Курсах по повышению квалификации», — об этом времени рассказано в очерке «Как я была инструктором ткацкого дела», — и каждую порой своей впитывала вдохновенный творческий размах первых лет революции. Лишь через два года потянуло меня к перу. Товарищ мужа, коммунист А. Я. Мясников (погибший впоследствии при аварии самолета с Могилевским и Атарбековым), дал мне рекомендательное письмо к редактору газеты «Экономическая жизнь» Крумину, и осенью 1920 года я уехала в Москву.

Началась совершенно новая полоса моей жизни — участие в великом и трудном процессе создания советской литературы. Не сразу удалось мне вступить в этот процесс, и я шла к нему своими путями».

Эти скупые строки Мариэтты Сергеевны о своей жизни в Нахичевани получили в последующем более развернутое описание, в котором она подробно, в деталях раскрывает свой духовный мир, свои поиски смысла жизни.

«И мне, и мужу все время надо работать; я строчу газетные статьи, он учительствует...». Из письма М. Шагинян подруге Н. Газдановой (1918).

Жизнь в Нахичевани служила неиссякаемым источником размышлений, рождения новых мыслей, казалось, на первый взгляд далеких от конкретных реальностей.

По словам Мариэтты Шагинян, долгое время её терзала мысль, имевшая для неё, «старавшейся всякое открытие в мысли тотчас переводить в практику, в действие, жизненно важное значение. Как строить и как понимать взаимоотношение между старым и новым, культурой и революцией? Как поступить самому, если жизнь ставит тебя перед выбором между консерватизмом и революционностью? Всякий ли консерватизм плох, а всякая ли революционность хороша? И если я буду решать этот вопрос конкретно, всякий раз исходя из условий времени, обстоятельств, целей, один раз — так, а другой — этак, не превращусь ли я в отвратительный тип философа-релятивиста, спекулятора, жонглера идеями, для которого абсолютной истины нет?

В студенческие годы я как раз и становилась такой релятивисткой, смутно чувствуя, что ничего не могу решить окончательно. Как это ни странно, решение все же во мне накапливалось, «восходило» на дрожжах растущего опыта, а явно-определенно оно опять-таки в картине, возникшей из самонаблюдения. Это случилось весной 1918 года в родильной клинике Варшавского университета, куда муж отвез меня на извозчике, когда пришло время рожать. Быть может, чудовищно в самые сильные минуты жизни не просто переживать их, а непременно осмысливать, исследовать, стараться понять, но — или ты пишешь правду, или сочиняешь, а сочиняешь — лучше не пиши воспоминаний! Я говорю правду о себе. Потому правду, что говорю о себе как не только о себе, но как о человеке вообще, ведь многое, если не всё, мы, люди, в той или иной степени ясности переживаем одинаково, проходим через те же опыты и сознаем одно и то же.

Так вот, лишенная таланта непосредственности, я, в муках рождения своего ребенка, не переставала наблюдать за удивительной тайной природы — всеми перипетиями процесса, называющегося «родами»: и характером схваток, и смелой пассивности и активности матери, вплоть до последнего крика появления нового человека. Университет был эвакуированный из Варшавы в Ростов-на-Дону, клиника организована наспех, в палате полно студентов (ведь клиника), вокруг — толчейно, и кричать совестно, и не видно за этими белыми халатами, что они делают, эти набившиеся чужие люди, — но я уже знаю: перерезывают пуповину, то, чем связан был этот новый родившийся индивидуум со мной, его матерью, чем были едины с ним, чем вместе дышали, — отделяем новое от старого безжалостно, революционно, хирургическими ножницами, — для того, чтобы он стал дышать самостоятельно, отделился, стал собственным своим бытием. Боль уже прошла, как рукой сняло. Подошедший студент с любопытством нагнулся ко мне: «Думаете небось, девочка или мальчик?» А я думала перед

раскрывшейся внезапно огромной тайной: чтоб новому стать бытием, между новым и старым перерезывается пуповина! Кормящая, дыхательная связь! Новое возникает революционно. Может, я так и ответила, не помню; студенты — кое-кто, наверное, жив еще — рассказывали потом, что «писательница рожала и философствовала».

Однако это был первый акт возникновения младенца. Спустя несколько часов, а может быть сутки, ко мне принесла няня беленький маленький сверток, удивительно мягкий на ощупь, хоть и крепко спеленутый. Отросток коралла, — но нет. Это был совсем другой отросток — органического мира, не камня или извести. Он был совершенно отдельный. Самостоятельный, отрезанный ножницами от питающей его матери. Он уже сам дышал — через свой собственный носик... Но его опять дали мне. Ему опять надо питаться. И опять питаться мною, моим материнским молоком. С необычайным ясновидением я представила себе великие революции, потрясавшие мир. Да, — возникая, они требовали хирургических ножниц. Да, это совершенно естественно — отказ от всего прошлого вплоть до названий месяцев, начало летосчисления, бытовых форм в Великой французской революции. Да, подписываюсь под молотком, разбивавшим статуи Фидия, гениальный продукт греческого искусства, руками невежественных, неграмотных, темных рыбаков. Это все — хирургические ножницы, это все необходимо, чтобы новый ребенок, новое общество начали дышать своим собственным носом, своими собственными легкими. Зато, возникнув, став исторической явью, они опять припали к прошлому, из которого революционно вышли. Бальзаки — после гильотины. Великая эпоха Возрождения — Ренессанс — после примитивизма первых веков христианства и аскезы раннего средневековья».

Так Мариэтта Шагинян мыслила в свои молодые годы, так же она размышляла и на закате своих лет. Мысль сопровождала её всегда во многих обстоятельствах и по разному поводу. Она была человеком мыслелюбия, человеком, щедро дарящим мысли другим. Всякая мысль рождалась по поводу и после возникающих вопросов. А вопросов у пытливого ума всегда было множество. С чего начиналось всё? Как возникало бытие? И она постоянно искала ответы на них.

«Начинала отцветать белая акация, густостовольно стоявшая справа и слева по улицам Нахичевани, скрывая белая армянские особнячки за плотной листвой. А я все читала да читала, без разбору, что только можно было достать: толстые тома с историей философии, старые научные журналы, древние эпосы. Молодой, гибкий мозг зари человечества тысячи лет назад начинал свою работу с того, чем мучились и наши молодые мозги, — с возникновения Вселенной. Он создавал вокруг этого вопроса мифы, легенды, религии. Греческие философы отвечали на него, каждый по-своему. Народные певцы посвящали ему первые строки своих сказаний. Каким-то образом, уж не помню, мне попала в руки старая



индогерманская хрестоматия Шлейхера на немецком языке — и я окончательно погибла, с головой ушла в Индию. Наступало преддверие «духовных деяний» — чтение. Неразборчивое, хаотическое, жадное. Мы без удержу поглощали все, что могли нам дать городская библиотека и книжные залежи в золоченых переплетах или не тронутые разрезным ножиком у наших богатых дядей. Страстно беседовали о прочитанном с такими же недоучками, как и мы, заводившими с нами знакомства в городском саду и в «балабановской роще», лесочке, посаженном одним из дальних наших родичей, городским головой Балабановым, между Ростовом и Нахичеванью... Странно. До чего мы увлекались в юности вот такими беседами! Они вытесняли танцульки, пикники, хождение в гости, в театр, на концерты; кино только зарождалось, радио и телевизора тогда еще не было. Сильней и неотвязней всего донимала меня мысль о возникновении чего-то из ничего. За уроками греческого я прицепилась к слову «логос» — оно было модно в те дни у поэтов-символистов и молодых русских философов. Им — греческим термином — заменяли русское «слово» в переводе евангельского «В начале было слово», и от такой замены казалось, что к понятию «слово» прибавляется нечто мистическое. Гете заменил «слово» евангельского текста «действием»: «Am Anfang war die That». Но дело, действие, мистический голос, — а кто их самих создал, кто породил их, как возникли они из того, чего не было? А если что-то крохотное, зародыш, искра — было до них, то откуда могли из ничего, из небытия возникнуть эти зародыши, искры? Мысль упиралась в потолок невозможности конкретного, реального представления. Кажется, будто сама мысль, словно бабочка, билась, рвалась в клочья об этот потолок — и рождала другую, последнюю мысль: если мозг мой, я, человек, мог додуматься до самого вопроса о начале бытия и представить себе, в рамках человеческой логики, потребности на него ответить и железную невозможность дать ответ, — значит, вопрос реален. Он существует. Он зажжен в мозгу, в мыслительном аппарате человека. А зажженный вопрос в рамках логики мозга — разве он уже сам по себе не гарантия возможности ответа?»

Можно со всей определенностью считать Нахичевань родиной духовных исканий, истоком обретения смысла в жизни М. Шагинян, приобретения ею чувства любви к ближнему человеку, стремления к добру. Подтверждением этому может служить эпизод, о котором М. Шагинян рассказала в своих воспоминаниях.

«Крестный, Афанасий Иванович, подарил нам с сестрой по кукле на Новый год, да не простой, а «сделанной на заказ»: он никогда не забывал упоминать об этом! Лине досталось большая, белокурая, с черными глазами, а мне поменьше, каштановая, с голубыми. У девочек особое отношение к куклам, они чувствуют их «антропоморфически», одевая и раздевая, укладывая спать, лечя, поднося к их фарфоровым губкам ложку с воображаемой пищей. Вот такими, на ощупь, обожали мы своих необыкновенных кукол. В первый же ясный январский день

мать взяла нас с собой на прогулку. Эпизод произошел в точности, как описан у меня в повести: встреча с женщиной, несшей больную трехлетнюю девочку; разговор мамы с этой женщиной; ужасное предчувствие мое и Лино, — и необязательный, не приказательный, даже не призывный монолог матери — о том, какое блаженство было бы для больной девочки получить вот такую куклу.

Словами, не относящимися прямо к нам, красками, как будто далекими от действия, описывала она чужое блаженство — как девочка не верит в свое счастье, смотрит и не догадывается, и как повлияло бы на ее ручки и ножки, скрюченные от болезни, слабенькие, страшно на них глядеть, если б она посмела притронуться к кукле, по пальчикам побежала бы жизнь, побежала бы радостная теплота оживания, а ведь от этой теплоты — отец учит своих больных, когда они приходят к нему на прием, — лучшая помощь для леченья, подмога выздоровленью. Мы всё делали вид, что не понимаем, стояли и часто дышали, прижимая к себе своих куколок. Женщина поняла раньше нас и сказала:

— Что вы, барыня, голубушка, нешто можно своих ребят обидеть!

А мать все продолжала, почему и как девочка заболела, болеет уже целый год, а игрушек у нее никогда, ни разу не было. И странным образом от ее речей у нас с Линой задержалось одно слово: «дотронуться». Было страшно дать ей куклу — дотронуться, ведь потом нельзя, нехорошо потянуть обратно, — и было интересно, было притягивающее важно дать ей дотронуться, представить себе теплоту, которая побежит по скрюченным ручкам и ножкам. Где-то, в самой глуби наших душ, совершался удивительный процесс превращенья отдачи в получение. Минуту назад нам казалось — невыносимо тяжело. А тяжесть — таяла, переходила во что-то другое, переместился ее центр. Я сунула свою голубоглазую Нелли в девочкины руки, но постаралась коснуться куклой, словно лекарством, ее скрюченных ножек, а Лина шепнула мне, что ее белокурая Роза будет «наша общая»...

Вот это действие облегченья доброго поступка, переход «отдачи» в «получение», в облегчающий потерю интерес — всегда сопутствовало маминим добрым делам, делало их легкими, как крылья, не давало места и времени для самолюбования или слезливой сентиментальности. Мать просто не выносила сентиментальности. Ни единого слова похвалы она не сказала мне. А я и не ждала — я скакала в ботиках «на одной ноге» по квадратам тротуара, где было чисто от снега, и с интересом думала: побежит или не побежит по скрюченным ножкам девочки живительная теплота — от прикосновений моей куклы; но, конечно, и хорохорилась чуть-чуть, глуша боль от утраты своей Нелли».

Вот такой урок удовлетворенности от доброго поступка М. Шагинян получила в Нахичевани и сохранила его на всю свою долгую жизнь.

Её мысль, начиная с юного возраста, наполненного нахичеванскими впечатлениями, как стрелка компаса, была неизменно направлена на поиск доброты в людях. «Можно обойти всю историю человечества, — писала она, — и найти на пути немало гениев, немало фигур, несравненных по новизне, силе, оригинальности творческих действий, но, как иголку в сене, с трудом стали бы вы искать между этими великими в огромном бездонном прошлом человечества самое редкое качество: доброту. Может быть потому, что исключительные люди редко бывают добрыми, а люди обыкновенные не всегда в известности, о них молчат даже камни на могилах, если есть эти камни». В представлении Мариэтты Сергеевны добрый человек «умеет в отношениях с друзьями думать о них, а не о себе, о добре для них, а не для себя и употреблять такие приемы, какие очень хороший педагог мог бы сделать: отвлечь внимание от тягостного, привлечь на нужное, облегчить настроение, успокоить его, подбодрить».

Глава 2.

Многомерность личности Мариэтты Шагинян

Чтобы судить о масштабах личности, приоритетах и ценностях М. С. Шагинян в жизни и творчестве, полезно ознакомиться с некоторыми высказываниями в её адрес тех, кто знал, читал и понимал её.

Вот что писал философ Михаил Лившиц в статье, посвящённой критическому разбору дневниковых записей М. С. Шагинян.

По его словам, «Мариэтта Шагинян — человек незаурядной энергии и широкого образования. Она обладает драгоценным качеством — неистребимой жаждой знания, стремлением все видеть, все испытать. Ее девизом являются слова Лобачевского: «Жить — значит чувствовать, наслаждаться жизнью, чувствовать непрестанно новое, которое напоминало, что мы живем...» Несмотря на своё гуманитарное образование, Шагинян всегда стремилась быть в гуще практической жизни, там, где плавят сталь, добывают газ из сланца, выводят новые породы скота.

Поразительна разносторонность личности Мариэтты Шагинян. Она цитирует Паскаля и Гёте, свободно разбирается в архитектуре и строительных материалах, живо интересуется технологией бездымного сжигания сланца, описывает множество различных машин и процессов, знает сравнительные преимущества швцов и симменталов, знакома с холодным воспитанием телят, выращивает мичуринские яблоки у себя на даче, интересуется музыкой и политической экономией, философией и наукой, заседает в учёном совете Института мировой литературы, изучает архивные материалы о пребывании Абовяна в Юрьевском университете, рецензирует диссертации о Банделло (итальянском писателе

Документальный фильм «Влюбленная молния», снятый к 110-летию Мариэтты Сергеевны и показанный в 2008 году на канале «Культура», начинался с фразы: «В своё жизненное кредо писательница умудрилась уместить евангельские заповеди и статьи Ленина...» Две крайности, между которыми металась при жизни душа этой женщины, ставшей своеобразным символом того, как сложно и странно «лепила» революция людей, пожелавших понять и принять её, но при этом сформированных в пределах христианской морали и жизненного уклада.

XVI века), пишет о математике и языкознании. Все это не только в Москве, у себя дома, нет, — в постоянных разъездах: от Чудского озера до Севана, от горных районов Армении до эстонской низменности. Кто бы подумал, что Мариэтта Шагинян имеет диплом альпиниста? Между тем она первая женщина, взошедшая на Арагац».

Мариэтта Шагинян, по его мнению, «человек образованный до утонченности», «мысли ее обращены в будущее, насыщены гуманизмом, расположены по верхней схеме: борьба «нового со старым», «передового с косным», «правильного с неправильным». «Ее обычное отношение к миру есть чрезвычайная восторженность». «Дневник, — замечает М. Лившиц, — рисует автора то пылким энтузиастом, то разносторонним человеком, владеющим всеми оттенками культуры, то глубоким практиком, способным разбираться в сложных вопросах техники и народного хозяйства». Завершая разбор «Дневника» М. Шагинян, М. Лившиц приходит к выводу: «Мы имеем дело с талантливым автором, широко образованным и опытным в литературном отношении». В этих и других выражениях характеризуют Мариэтту Сергеевну многие из тех, кто её читал глубоко и непредвзято. Здесь приведены суждения М. Лившица по той причине, что его нельзя отнести к числу тех, для кого она была кумиром. При всех его ядовитых замечаниях в адрес автора «Дневника», М. Лившиц объективно признавал выдающиеся способности Мариэтты Шагинян.

О Мариэтте Сергеевне написано много и разного, но в большинстве своём правдиво и высокоодобрительно. Вот некоторые строки, адресованные Мариэтте Сергеевне.

«Отныне, говоря о себе, могу смело ссылаться на Вас. Авторитетность Ваша тут вне сомнений» (Сергей Рахманинов).

«...Если Вы что-нибудь напишете обо мне, то это для меня будет большим подарком. Повторяю: все, вышедшее из-под Вашего пера, будет для меня большой честью» (Дмитрий Шостакович).

«Энциклопедически образованная, знавшая древние и новейшие языки, чувствовавшая себя своим человеком в старейших библиотеках Европы, она глубоко разбиралась в гуманитарных науках — философии, истории, социологии, филологии, политэкономии, но она знала толк и в физике, она была прекрасным экономистом. И что же удивительного, что львиная доля ее необъятного литературного наследия отмечена исследовательской мыслью! Монография о Гёте, докторская диссертация о Тарасе Шевченко, воспоминания о Рахманинове, этюды о Низами, работа о «Калевале»... Какая невероятная широта и любознательность! Какая масштабность мысли! А ее книга о выдающемся чешском композиторе Иозефе Мысливчеке!» (Федор Абрамов).

Мариэтта Шагинян — женщина легендарная и уникальная по многим параметрам. Спорить с ней было бесполезно. Очевидцы вспоминали её прилюдные споры с сильными мира сего. На загородной встрече Хрущёва с творческой интеллигенцией Шагинян, сидевшая в первом ряду, поднялась, держа микрофончик от слухового аппарата, и громко сказала: «Никита Сергеевич, а в Ереване сахара нет!» Хрущёв хотел было пропустить эту реплику, но Мариэтта не сдалась: «И масла тоже нет!» Был скандал — и Шагинян покинула встречу. За ней вдогонку послали машину, но она хлопнула дверцей и потопала дальше. Может быть, поэтому она жила в небольшой двухкомнатной квартирке на первом этаже московского дома писателей в районе метро



«Это было в Ростове. По кладбищу среди могил идет женщина. Оглядывается по сторонам, чего-то ищет.

— Вот здесь мать у меня похоронена. Рядом туя стояла. А теперь ее нет. Может, я ошибаюсь? — говорит она спутнику, сопровождающему ее.

Женщина ходит взад и вперед, снова возвращается на прежнее место.

— Нет, туя стояла здесь. Если ее срубили, должно же от нее что-нибудь остаться, — говорит она уверенно, начиная новые поиски.

Вскоре туя нашлась. Она действительно оказалась срубленной, из земли торчал только полусгнивший пенек.

Женщина достает перочинный нож, отрезает от корня кусок и прячет в портфель.

— Дам на химический анализ. Если этот пень — корень туи, значит могила здесь.

Женщина эта была Мариэтта Шагинян. Эпизод, приведенный выше, может, и придуман. Мне рассказали об этом другие, но он характерен. Анализировать, изучать, активно вмешиваться в жизнь — неприменные черты характера писательницы» (Леонид Гурунц).

Каждый выдающийся человека, — а М. С. Шагинян бесспорно к ним относится, — является человеком своего времени, он всегда опережает своё время, так как живет не только настоящим, но и осмысливая прошлое, он заглядывает в будущее, в завтрашний день. Он создает такие ценности, которые не теряют своего смысла для многих поколений. Величие талантливого человека заключается в том вкладе, который он внёс в сокровищницу мировой культуры, в чашу человеческой мудрости, и сохраняется в памяти тех, кто извлекает из прошлого, из наследия великого человека те драгоценности творческого ума, которые помогают жить при других обстоятельствах.

В произведениях М. С. Шагинян, в её жизни столько смысла, столько мудрости, что обращение к ним позволяет многое понять, многое взять на вооружение в наши дни.

М. Шагинян всю жизнь несла факел знания, вспахивала своим трудом многие неосвоенные пласты реальности. Её жизнь — это духовный подвиг. В ней жила любовь к людям, ко всему честному, доброму, умному...

Когда читаешь статьи, очерки, повести М. Шагинян, жизнь становится теплее, разумнее, бодростью наполняется душа. Незримо продолжается цепная реакция

умных слов, добрых суждений. Она всегда была на стороне света и добра, учила внимательности к человеку, воспевала жизнь во всех её прекрасных проявлениях.

Социальные, нравственные, духовные проблемы времени, в котором жила писательница, органично входили в состав её творчества.

У М. С. Шагинян можно найти ответы на многие вопросы, не потерявшие актуальности и в настоящем. Естественно, у неё можно встретить и спорные суждения, которые побуждают самостоятельно разобраться в ситуации. Она дает повод включиться в глубокие размышления, как это всегда бывает после беседы с умным и добрым человеком.

Разве не заставит задуматься, посмотреть на свою жизнь по-другому одно из ранних её стихотворений:

*Минуты поздних сожалений,
Что в этом мире горше вас?
Какая скорбь, какие пени
Вернут невозвратимый час?*

*В сознаньи радостен и долог,
Он, мнится, вечен сквозь года;
Но миг, — вот задернут полог
Меж ним и нами навсегда.*

*И мы у перевозданной щели,
У пасти времени, — клянем,
Что не сумели, не успели
Всего себя отметить в нем.*

*И сердце мысль одна тревожит,
Один укор терзает нас:
Он по-иному был бы прожит,
Когда б вернуть ушедший час.*

*О, смертный, бойся страшной казни,
Вина из чаши не пролей, —
И совершенней, глубже, связней,
Себя в своем запечатлей.*

Мариэтта Сергеевна была эмоциональной натурой. Она увлекалась многим и многими. Вот как об этом она писала: «Выше я говорила о своих переходах «от любви к любви, от создания одного кумира к другому». Я прошу читателя

«Аэропорт». Её квартира была заставлена книжными полками. У окна — старенькое пианино. На нём — посмертная маска Гёте, любимого автора, которого хозяйка перечитывала в подлиннике едва ли не каждые полгода. На подоконнике — коллекция камней, собранная на янтарных отмелях Прибалтики, на берегах французской Бретани и в бухтах Коктебеля. На столе — маленькая чернильница-непроливайка и обыкновенная перьевая ручка. В квартире хранилось огромное богатство — связки писем. От Александра Блока и Марины Цветаевой, Андрея Белого и Сергея Рахманинова, Михаила Зощенко и Николая Тихонова, Романа Роллана и настоятеля Кентерберийского собора Хьюлетта Джонсона...

По убеждениям бесспорный и безупречный интернационалист, Шагинян была армянкой по рождению, а значит, человеком неизбежно эмоциональным, живущим почти всегда с ощущением личной причастности к происходящим вокруг событиям. К тому же природой она была наделена умом ярким, характером взрывным. Отношение к ней складывалось у разных людей по-разному. Одни обожали, если не обожествляли её. Другие воспринимали добродушно, но с лёгкой иронией. Третьи терпеть не могли. Четвертые считали её выдающейся писательницей и крупнейшим общественным деятелем эпохи. Пятые рассказывали про неё анекдоты. Но никто не был к ней равнодушен. Хотела она этого или нет, но уйти незаметно из истории русско-советской литературы ей не удалось...

помнить, что речь тут идет именно о «духовных деяниях», о труде духа. Ни атома всего того, что присуще земной человеческой любви, ни малейшего дуновенья эротике в этих моих увлечениях не было, они возникали как необходимость для ученичества, послушничества, поиска путей познания и носили, в сущности, не личный, а сверхличный характер, форму важного духовного опыта, о котором не только можно без всякой застенчивости, но и должно — с полным бесстрашием — поделиться с читателем, как полученным знанием. Письма, — потребность высказаться и сообщить с себе подобным мыслящим существом, — были у многих из моего поколения, а у меня особенно, безмерно щедрой самоотдачей. Писались они часто совсем незнакомому человеку, фактическое знакомство приходило уже значительно позже и наслаивалось на создавшуюся еще раньше душевную близость. Все мои самые близкие духовные связи тех лет выросли из переписки, начались с переписки — до того, как адресаты обеих сторон увидели друг друга в лицо как таковые».

Глава 3. **Армянская нахичеванская колония** **в памяти Мариэтты Шагинян**

Жизнь в Нахичевани, память о своих армянских родственниках прочно вошли в умственный и чувственный строй Мариэтты Шагинян. О чём бы она ни размышляла, о чем бы она ни писала, картины прошлого неизменно всплывали в её сознании, служили источником ярких образов и глубоких мыслей. Прошлое не затмевало её взгляда на современную, текущую жизнь — помогало лучше и полнее увидеть и понять настоящее и заглянуть в будущее. По этому поводу она писала: «Когда вы беретесь за изучение прошлого, и оно на время вашей работы становится для вас будущим, вы вдруг чувствуете страшную человеческую ответственность, упавшую на ваши плечи. Люди жили и творили до вас; каждый шаг по земле, который вы делаете, — это шаг по жившим, страдавшим, работавшим, вложившим свою каплю в «мед» мировой культуры, таким же, как вы, наделенным сердцем, воображением, нервами, коротким отрезком времени, чтоб провести его на земле. И они беззащитны перед вами, историком, вы становитесь хозяином их второй судьбы — судьбы воскрешения после смерти. У них нет голоса для ответа, объяснения и оправдания, если вы натягиваете на них маску с деревянным лицом, создаваемым вами для них «на основании того-то и того-то». Им нечем отвести вашу руку, вдруг нажимающую на раны их, когда-то истекавшие кровью. А ведь они — это были вы, это вы жили, творили, страдали, падали и поднимались, проходя в веках человеческий путь вечного Адама. И сейчас сами же вы холодом и слюной (поэт называет ее «слюною бешеной собаки») можете невзначай наполнить свое перо, касаясь живших до вас тысяче-

тия и столетия назад людей, не чувствуя и не подозревая, что будете отравлять холодом и клеветой, фальшью или пустопорожним суесловием себя самого и свое дело в веках».

Этими соображениями Мариэтта Шагинян руководствовалась в своей писательской, научной и публицистической работе. От этих правил она не отступала в своих размышлениях и воспоминаниях о Нахичевани.

Мариэтта Шагинян владела значительным набором инструментов научного и художественного познания реальности. Зоркий глаз и чуткая душа позволяли ей обращать внимание на то важное, значимое, что было в тогдашней жизни. Общение со многими людьми, доверие к ним, умение слушать и слышать помогали ей накапливать, осмысливать колоссальный объем сведений, делать глубокие обобщения.

Знакомство с армянской диаспорой, с городом Нахичевань, неостывающий интерес к людям армянской национальности зародился в детские годы. Вот, как она описывала это в книге «Человек и время».

«Армянская семья врача была не только частью московской интеллигенции. Она была частью московской армянской колонии. Вероятно. Это каким-то образом ощущалась с детства, — я не помню. Но перед тем, как засесть за свою повесть о себе, я прочитала с огромным интересом все, что относится к армянским колониям на Руси, и особенно прекрасную книгу Саломэ Арешян, названную очень узко «Армянская печать и царская цензура». А на самом деле охватывающую до самых корней армяно-русские отношения и куда более богатую умом и содержанием, чем иные пухло-пустопорожние двухтомные компиляции на эту тему. И на меня нахлынули «гены» тысячевекового бродяжничества армян по лицу нашей земли, постоянного снятия с этой земли всем домом и скарбом, заселения новых земель, их любовного обхаживания, их покрытия садами и — снова снятия, передвиженья, борьба. Борьбы — за пределами границ семьи, околотка, группы народа, и борьбы — в пределах семьи, околотка, группы, народа; нечто, кишашщее вечной деятельностью, как муравейник, — с вечной стабильностью мечты о родине, звездой освещающей путь вечных передвижений. Я очутилась в царстве «генов», разноголосица которых забила мне уши, как морской шум забивает раковину. Я ответвилась от этого народа, поросла его веточкой — и мне стало жизненно важно разобраться в судьбах армянского народа, осевшего колониями на русской земле».

В этих словах звучит жгучая потребность, зов души глубже, полнее изучить армян, проживавших в России, в том числе и на Дону. Это был искренний интерес, который она сохранила до последних дней своих. Это был открытый, широкий взгляд, не замутненный никакими предрассудками и условностями.

«И по матери, крымской армянке, и по отцу, измаильцу-григориопольцу, я принадлежу к... анийской ветви моего народа».

«Отправными точками в этом разборе стали два семейных рода: матери, Пепронэ Яковлевны Хлытчиевой, из армянской колонии в Нахичевани-на-Дону, и отца, Сергея (Саркиса) Давыдовича Шагинянца, из армянской колонии в Григориополе на Днестре. Но сперва — что же это такое, колония в самом теле чужого государства, как вкрапленный в тело инородный предмет? Что это такое, когда вовсе не могучее государство колонизирует где-то за морями-океанами чужие материка, населенными чужими народами, и создает политико-экономическое явление, именуемое «колониализмом», — а наоборот, маленькая группа иноплеменных «колонирует» кусочки земли в огромном теле могучего государства, обжимая эти кусочки там и сям, по местам территории, коллективно застраивая и культивируя их?»

В присущей ей манере М. С. Шагинян, отталкиваясь от конкретных фактов, углубляет свои представления и понимание, приходит к серьезным выводам и обобщениям, которые сохраняют свой смысл и в наши дни. Вот как она отвечает на поставленный вопрос.

«Оказывается, разница тут огромная. Могучие государства, колонизируя... страны, используют их отсталость. Но те же могучие государства, приглашая к себе селиться группы иноземцев, используют их культурные навыки, их умение. В первом случае государству-колонизатору выгодны отсталость колонизируемых стран, дешевые рабочие руки; оно дает этим странам лишь такие зачатки цивилизации, которые помогают добывать и вывозить природные богатства колоний. Но во втором случае картина совсем иная: на пустынную территорию приглашаются государством группы иноземцев, приглашаются с поклоном, с посулами — дать денежную помощь, дать привилегии — свободу от налогов, от набора в солдаты, свое городское управление, свое судопроизводство и школы на родном языке — только вселяйтесь, милости просим. Почему? Потому что вас приглашают как умелые руки — стройте дома, города, разбивайте сады, культивируйте землю, налаживайте торговлю и торговые связи, насаждайте ремесло, какому сведущи, — топите сало, тяните кожу, отливайте свечи, разводите шелкопрядов, тките шелк... И приглашенные на пустые земли строят, создают, налаживают, торгуют, становятся в некотором смысле «цивилизаторами»».

Екатерина II особой грамотой выписала когда-то независимых крымских армян на донскую землю под Ростовом. Им обещаны были всякие льготы. И богатые армяне двинулись со своим скотом и скарбом в донские степи. Они осели в них, образовали большие села, а под Ростовом вырос уютный городок, Нахичевань, своего рода Шарлоттенбург под Берлином. Из шумного Ростова попадаешь в чинный, чопорный городок с приглушенным шумом шагов на тротуарах, в два ряда посаженных белыми акациями, с припущенными веками-ставнями изящных особнячков александровской эпохи, с лепными украшениями и подъездами.

Здесь уже вовсе глухая, но зато крепко оседлая провинция с пересудами, родственниками от Адама, чаепитиями, рецептом домашних печений и черноглазыми армянами на руках у важных толстых русских нянь, раздобревших на сдобном».

В своих размышлениях о колониях вообще и об армянской колонии в частности она обращает внимание на слова армян в петиции к Екатерине II, связанные с «постройкой», с «разведением», вообще с деятельностью «по собственной каждого воле», — это ведь тяга к оседлости и независимости у народа, история которого полна скитаний и зависимости. «Но в них отражено и еще кое-что. Непоседами армяне сделались не только от нашествия сельджуков в XI веке и постоянного давления на них «чужих идеологий» — ислама, персидских разновидностей магометанства, язычества, римлян, арабов, всего и всех, кто мечом и огнем проходил по их пажитям, заливая Араратскую долину кровью, — но и от древнейшей их способности, поощряющей непоседливость, от умения быть мастерами, умения строить. Строительная, как и пастушья, профессия связана с вечным передвижением. Переходишь с места на место за стадом, ища свежие пастбища. И переходишь с места на место в поисках работы, держа за пазухой рабочий мастерок, это грубое подобие стека, тонкого орудия скульптора».

Со ссылками на книгу профессора Стрижиговского «Строительное искусство армян и Европа» и другие источники она воспроизводит высокую хвалу армянскому зодчеству и заключает следующими словами: «Вот эта древнейшая способность, живущая как бы в крови народа, подобно строительной способности пчел, муравьев, бобров, делали армян желанными колонистами в пустынных просторах Юга России. Строить, лепить, цементировать, связывать...»

В эти слова М. Шагинян вложила глубочайший смысл, выразила важнейшую особенность — строить, созидать, цементировать не только камни и кирпичи, но и людей в обществе, связывать единой цепью дружбы и сотрудничества.

На всю жизнь Мариэтта Сергеевна сохранила глубочайший, неподдельный интерес к истории, культуре, психологии армянского народа. Острая наблюдательность и умение глубоко и точно судить о тех или иных сторонах жизни позволили ей передать яркие зарисовки об особенностях характера, вкуса, наклонностей, менталитета армян. Она со знанием дела отмечает естественную потребность «украшать, архитектурно обрамлять воду», исконную любовь к цветам, которые чтутся как «красота вселенной» и «намек на высокие звезды». По её словам, «среди армян известна и более материальная любовь к пахучим травам. Нигде в мире, кажется, не едят с пищей так много свежепромытых водою травок...и просто, и с горячей пищей, и заворачивая в плоский хлеб с сыром. Существует азербайджанская поговорка: «Достоинство розы соловей знает, достоинство зелени — армянин».

«До первого десятилетия нашего века (XX. — Ред.) потомки крымских армян, построившие при Екатерине город Нахичевань-на-Дону, сохранили и свой, пропитанный татаризмом стол, и свой диалект, где армянский язык обрел немало татарских словечек».

Не пропускает она и особенности поведения армян на охоте. «Армянский охотник, — пишет она, — любит охотиться в компании; чувство природы связано у него с наслаждением от общества друзей, подчас отодвигающим саму цель (пострелять, принести полный ягдташ) на второй план, а на первый ставит прогулку как таковую, пикник, веселый пир «на лоне природы».

Обращает она внимание и на манеры танца армянских женщин.

«Армянка танцует не столько ногами, сколько руками, вытягивая их в длину, поднимая, отводя от себя в стороны, глядя вбок, на свои разведенные в стороны пальцы, на приподнятую, сжимающуюся, разворачивающуюся, плывущую в воздухе выразительную ладонь. Это кажется однообразным; но для того, кто видел много армянских народных танцев, пластика вытянутой руки с отставленным мизинцем, с перебором пальцев полна бесконечного, неповторимого разнообразия. Две тысячи лет этой пластике ручного танца». Её очаровывают «хорошие женские армянские глаза с их вечной великотруженической кротостью».

С детских лет М. Шагинян сохранила тёплые чувства и яркие впечатления о жизни родственников — нахичеванских армян.

«Детьми меня и сестру, — писала она много лет спустя, — возили на побывку к дедушке, Якову Матвеевичу Хлытчиеву и к многочисленным тетушкам, его дочерям, в уютный маленький Нор-Нахичевань. Это был обособленный город, отделенный куском голой степи и мелкорослой искусственной рощей, называемой «Балабановской», от крупного портового Ростова-на-Дону. Нас потчевали армянскими блюдами — их иногда готовила и мать в Москве, — хранившими отзвук и вкус крымско-татарской кухни: мусаха, самса-хатлама... Были особые старухи, изготовлявшие лакомую закуску — язычки. Небольшой бараний язычок приготавливался и в копченом виде, и в маринованном и был необычайно вкусен, особенно копченый, буро-алого цвета, когда с него аккуратно срезали кожицу и резали на тоненькие ломти. И еще одно лакомство: эрэшник, плоская колбаса из копченого, с чесноком, бараньего мяса. Язычки мне больше никогда не случалось есть; эрэшник претерпела измененье во вкусе и называется сейчас «суджук»; а вот татарские блюда из мучных ушков, начиненных ароматным, с травками, бараньим мясом, хашик-берек (суп с ушками на кислом молоке) и татар-берек (блюдо с ушками в мацуне со сливочным маслом), посыпанные сверху толченым сухим чабрецом, и до сих пор изготовляют кое-где армянские хозяйки родом из крымских армян, и я никогда и нигде не ела ничего вкуснее. Еда в Нахичевани носила характер праздничный, почти эстетический. Для изготовления береков привлекалась вся женская половина дома, в том числе и дети. Помню, как нам под самый подбородок повязывали огромные полотенца, заставляли щеткой мыть руки и ногти и только после этого допускали к кухонному столу, где на доске аккуратно резалось приготовленное тесто на части. Потом

эти части раскатывались длинными столбиками, столбики делились на кусочки, а кусочки плоско приминались пальцами, и опрокинутая рюмка нарезала из них острыми своими краями ровными кружочками, не толще обычного картона. На эти кружочки накладывались щепотки заранее приготовленного фарша, и только потом дело передавалось в руки детей и семейных доброхотцев; мы с огромной осторожностью, благоговей, закрывали и защипывали эти начиненные кружки сверху, в особого типа круглую маленькую розетку — ушко. Так никогда не делают пельменей, защипываемых с одного боку. Бывало, мать достает из многочисленных жестянок со всякими ароматами — шафраном, корицей, лавровым листом — несколько черных гвоздичек и поручает нам, детям, воткнуть их в ушки, да так, чтобы снаружи не видно, — чтоб «принести счастье» тому, кому выпадает за столом это ушко. Число таких гвоздичек всегда бралось вдвое меньше приглашенных к столу».

В деталях, с подробностями она описывает традиционные армянские блюда и процедуры их приготовления не случайно. По её словам, этот дух, эту обстановку совместного участия детей со взрослыми в увлекательном кулинарном действии она много раз применяла, когда размышляла о наиболее эффективных педагогических приемах.

«Я описываю так подробно эту процедуру, потому что позднее она мне много раз припоминалась, когда я раздумывала над лучшими методами педагогики. Труд может показаться скучным. Но если кто-то перед вами делает свой труд обаятельно, труд становится заразительным. Дети начинают хотеть: и я! и я! дайте попробовать! И пробуют со стиснутым ртом, с затаенным дыханием, с наслаждением в глазах и пальцах — так надо учить!

Помните первый подвиг Тома Сойера, когда тетушка в воскресный день в виде наказания заставила его выкрасить забор? Бедняга Том пал было духом, но заметил подходивших мальчишек. Тут он сразу превратился в художника, в творца: поджав губы, мазнет кистью — отступит на шаг, поглядит на творение рук своих, слегка наклонив голову, окунет кисть в краску, и опять мазок — ровный, густой, сочный... Известен конец этого приема: охваченные завистью (зараженные) мальчишки один за другим стали вымаливать разрешение у Тома тоже покрасить, и Том не сразу и не даром стал давать эти разрешения... Он применил прием заразительности труда — показал его обаяние».

Сохранив в памяти чудодейственное влияние совместного творческого труда, М. Шагинян на этой основе строила свои педагогические подходы. Чтобы процесс труда сделался «обаятельным», а усилие облегчалось, по её мнению, следовало к обыкновенной работе подключить эстетический элемент, создающий личное, субъективное удовольствие для того, кто трудится. Эта мысль не потеряла своей актуальности и для современной школы.

С присущей ей обстоятельностью М. Шагинян также описывает и другие традиции нахичеванских армян.

«Была еще одна замечательная пищевая традиция у нахичеванцев, — пишет она, — которая глубокими корнями уходит в древность. Часто вечером мать приглашала своих сестер (или они — нас) на калмыцкий чай. Аромат его из кухни пропитывал все комнаты. Тетушка приходила чинно, в платьях для «выхода», снимали шляпки, приколотые к прическе длинной шляпной булавкой, и оставляли их в гостиной на столе. А в кухне кипятился в большом котле кирпичный чай, круглыми плоскими плитками продававшийся фирмой Высоцкого. Он потом процеживался, смешивался — половина на половину — с молоком, и в большой миске его приносили в столовую. А в столовой уже сидели за столом тетушки, перед каждой стояла небольшая, без ручки, чашка, подобная узбекским для кок-чая, и было свежее, со слезой, сливочное масло, солонки с солью, горка особых песочных сухариков без сахара, — пили калмыцкий чай, посолив его, опустив в чашку немного масла и похрустывая меж питьем рассыпчатыми сухариками. Нахичеванские врачи поощряли этот напиток, утверждая, что он продлевает человеческую жизнь. Кто знает, из каких степных далей, из-под какого ночного неба, от чьих пастушьих костров пришел к нам этот удивительный чай, именовавшийся у армян калмыцким? В долине Арарата и в Ереване его не пьют. Тетки наши, разгораясь от питья, гортанно сыпали бесконечными рассказами и восклицаниями на армянском — нахичеванском диалекте. Я на всю жизнь запомнила один энергичный вскрик, сопровождавшийся всплеском пальцев в бриллиантовых кольцах: «Хазар вай тепеис вран!» («Тысячу ваев на мою голову!»)

С большой симпатией М. Шагинян рассказывает о своих дальних и близких родственниках, и прежде всего о своих тетушках.

«Тетушек у нас было много, сразу не перечесть, и все повыходили замуж за местных богатеев, и у каждого был свой характер и свое отцовское приданое в 25 тысяч. Когда назывались в те годы фамилии самых именитых «первогильдийных» армян, то наверняка они были дядями — мужьями маминых сестер: Джамгаров, Хатранов, Чикнаверов, Сагиров, Когбетлиев, Шилтов — банкирский дом, нефтяные промыслы, рыбные промыслы, нотариальная контора... Русское окончание фамилий показывало, что все они из — XVIII века, века Екатерины, когда армян-колонистов записывали на «ов». Тети — каждая — стоят у меня ярко в памяти, красивые, крепкие, хозяйственные, одаренные здравым смыслом и коренным упорством в поведении. Они верили в незыблемый распорядок жизни, в женские функции жен и матерей, в соблюдение обычаев, неизвестно кем и когда установленных: дни поминанья умерших, когда на кладбище надо нести пироги для раздачи нищим; визиты попа и дьякона в большие праздники,

с заготовленными для них конвертами, первому толсто, второму потоньше; «солень» младенца при его крещении, изготовление «гаты» и «губаты» под рождество и множество всяких соблюдаемых правил и привычек. Даже крем для лица у моих тетушек был особенный, старозаветный, изготавливаемый из рода в род невзрачным пригородным семейством и называемый «Зюлейкина мазь».

В Нахичевани Мариэтта Шагинян пережила многие радости и печали. В Нахичевани она похоронила своих отца и мать.

Вот как она об этом пишет: «Когда отец начал ездить на практику в Ессентуки, мы тоже стали ездить, только не в Ессентуки, а в Кисловодск, куда каждое воскресенье приезжал к нам на отдых отец, идя со станции пешком, с чемоданчиком, набитым для нас разными разностями. Больной и очень усталый, с желтым лицом, он прямо из Минеральных и был увезен умирать, по его собственному желанию, не в Москву, а в родной город матери Нахичевань-Дону, где мать должна была остаться у бабушки, поскольку в московской квартире все описывалось, выносилось, распродалось из-за долгов. В Нахичевани он и умер, и похоронен. Мать тоже похоронена рядом с ним, на армянском нахичеванском кладбище, спустя тридцать с лишним лет. Ухаживала она за тяжелобольным, не зная ни дня, ни ночи отдыха, потому что последнее время отец совсем перестал спать. Незадолго до смерти он сам сосчитал свой пульс и сказал маме:

— Ну, теперь скоро, через несколько минут... Отдохнешь, бедная моя. Мать это рассказала нам перед своей смертью и добавила: — Две недели будете отдыхать, бедняжки, а потом начнете тосковать.

Так оно и случилось. Отец умер от цирроза печени. Мать — от рака ободочной кишки.

Год один после его смерти мы проучились в Нахичевани, а потом богатые тетки, и главным образом московская тетя Ашхэн, повезли нас назад, в Москву, и отдали уже пенсионерками, или, как тогда говорилось, «живущими», в ту же самую гимназию Л. Ф. Ржевской».

Каждое мгновение, каждое события в жизни М. Шагинян среди нахичеванских родственников и друзей служили поводом для глубочайших размышлений, для поучительных выводов на долгие годы.

«Оба мы с женихом были бедняками. У обоих близкие, семьи — у него мать, брат, две сестры, у меня мать и сестра. И бедность была счастьем. Бедность была непрерывным призывом к труду. Бедность оставляла душу чистой от пустого времяпрепровождения, время становилось самым великим богатством, оберегаемым, как драгоценность, бедность приучила к постоянству, к долгу,



Могила родителей



Карандашный портрет мужа Мариэтты Шагинян Акопа (Якова) Самсоновича Хачатуряна.

к труду, к творчеству. Оказывается, бедность не порок, бедность не обрекает человека на недостойную жизнь. Бедность закаляет, бедность обязывает не надеяться на чудо, а стремиться жить своим умом и руками, творить себя и окружающий мир, делать его комфортным для своей жизни и для других».

Глава 4.

Мариэтта Шагинян в годы крутых перемен

«Я считаю большой удачей для себя, что встретила Октябрь, застряв во время войны 1914 года в городе моей матери Нахичевани-на-Дону, когда возвращалась из Гейдельбергского университета в Россию... Это был пригород большого рабочего, революционно настроенного города Ростова-на-Дону. После того, как на севере произошла Октябрьская революция, мы на юге оказались под властью деникинщины. Почему я пишу — это было удачей для меня? Потому, что моё прежнее окружение, буржуазные поэты и писатели Петербурга и Москвы, часть тех, в среде которых я находилась, встретили Октябрьскую революцию непониманием того, что она внесла в мир, отсутствием подлинного чутья истории, ожесточением и враждебностью. Мы же на юге, и моя тамошняя среда в чудовищной атмосфере последних судорог отжившего строя, ждали переворота как спасения и освобождения.

С 1915 по 1920 годы Мариэтта Сергеевна жила в Ростове-на-Дону, преподавала эстетику и историю искусств. На Дону её и застала революция. Здесь же она пережила Гражданскую войну. Она не делала попыток присоединиться к воюющим силам и не думала об эмиграции. Мариэтта Шагинян осталась в Ростове и наблюдала непосредственно происходящие события и перемены. А обстановка на Дону была крайне нестабильной, сложной, непредсказуемой.

Творчество М. С. Шагинян основывалось на практическом знании реалий своего времени, возникающих из опыта нахождения в той или иной социальной среде, на умении перевести свои знания в понятные слова, образы, ситуационные обобщения, что позволяло войти в логику прошедших событий и человеческих характеров.

Известно, что всякая реальность неоднозначна. Разные люди, чаще всего, в одном и том же видят разное. Многое зависит от того, с какой точки смотреть, под каким углом и с какой целью. По утверждению социологов «избирательное забывание, как и частичная слепота к окружающей действительности есть, скорее всего, не столько парадоксы, сколько непеременимые составляющие процесса выработки памяти». У Мариэтты Шагинян была внутренняя потребность передать честно, правдиво то, что она наблюдала, слышала и понимала. Вот как она описала Ростов и его окрестности накануне грандиозных перемен 1917 — 1920 годов.

Нигде «перемена» не была такую сплошной и беспередышной, как на юге России в эпоху гражданской войны. Я и хочу рассказать о ней, имея в центре внимания не событие только, но человека.

Я провела в Донской области около трех с половиною лет революции, с поездками в Петербург и Закавказье. За это время мне пришлось пережить несколько переворотов, немецкую оккупацию, приезд «союзников» в гости (англичане и французы в Новороссийске и на Кубани), полосы междувластия, когда единственной защитницей обывателя была домовая охрана, атаманщину, деникинщину, врангелевщину.

Обыватель, как растение, сопротивлялся этому ветру событий. Он стоял на месте, и волны шли через него, оставляя отмыты. Отсюда не «историческое»

(с перспективой), а чисто локальное, местное запечатление всего пережитого. Но чтоб яснее представить себе эту «локальность», читатель должен видеть кусок степной России, о которой я поведу речь.

Из страны черного хлеба и гречневой каши вы попадаете в страну пшеницы. Степной простор без края, по обе стороны железнодорожного полотна. К середине лета он выжжен солнцем, на пыльной земле — сухие хвостики ароматной травы «чабрец», свист цикад и зигзаги ящериц.

Уши наполнены переборами этого свиста; солнца так много, что кажется, будто и оно шумит в ушах, особенно в полдень.

Сонные, сытые станицы, — хлеба много, лени много. Есть легко, значит, трудно работать и думать. Никакой борьбы за благообразие, за разнообразие: хлеб душит все. Излишек зерна приучает к барышу, с которым не сравнится скромный барыш огородника, кустаря, пчеловода. И вы видите, что у казака нет ничего, кроме хлеба. Хлеба — и денег.

Даже донской хуторянин все свое внимание кладет на пшеницу. Заедешь на хутор, — та же сонная лень, хлеб, молоко, помидоры, черешня, — и нет картофеля, нет капусты. Картофель и капуста на Дону дороги, потому что нет выгоды возиться с ними. Пшеница убила все.

Деревни без дерев: лень их сажать. О садиках нет и помину. И стоит с августа над этим нагретым простором душная пыль молотящегося хлеба, густая до того, что чихнуть страшно — заползет в глотку и ноздри.

А рядом расковыряно черное чрево земли, полное угля. Вместо цветов под Новочеркасском дети собирают окаменелости перистых рыб, кузнечиков, папоротников.

На узле хлебного и угольного пути, где пролетает поезд, знакомый москвичам и петербуржцам по летнему следованию на Минеральные, стоит город, построенный спекулянтами для спекуляций, — Ростов-на-Дону. Это молодой город, у него нет истории, кроме разве «проезда высочайших особ» да похорон городских голов. Весь он из конца в конец прорезан одной главной торговой жилой, от вокзала и до заставы. Вокруг вокзала грязь, гной, гниль Темерницкой лужи, почерневшей от копоти и фабричных слюней, выплеванных сюда темными трубами фабрик, черными жабрами локомотивов, угольной и мусорной пылью. Тут рассадник холеры, и летом здесь солнце печет так, что каблуки застревают в асфальте.

По главной улице — бесконечный ряд небоскребов, домов с новейшей техникой, взлетевших под самое, лысое от солнца и засухи небо, — и в огромных сквозных витринах — веялки, молотилки, моторы, паровики, колеса, трубы, а

Мы ждали его активно. У нас были подпольные кружки, мы встречались с рабочими пролетарского Темерницкого района. К нам доходили иногда запретные большевистские издания. Я много раз писала позднее, какую огромную роль сыграло для нас первое чтение «Двенадцати» Блока... Мариэтта Шагинян. Из статьи «Не утопия, а реальный опыт», 1980 г.



В письме к своей подруге Надежде Газдановой от 3 августа 1917 года Шагинян высказала свое тогдашнее отношение к происходящему: «...опасений за Россию (вообще) я никогда не чувствовала и теперь не чувствую... По существу, Россия все же выкарабкается и научится. Мне даже иной раз именно в нынешнем хаосе чувствуется русское величие. Я вижу в таких явлениях, как большевизм, — исконно русское. Потому-то, иной раз ненавидя большевиков и сознавая, что они губят Россию, я все же всегда вижу неизбежность их появления на Руси».

над витринами золотом по черному — имена американских, английских, французских акционерных обществ. Склады, конторы, склады, отделения фабрик, банки и опять склады, и опять конторы.

Внизу под городом, параллельно с главной улицей, белая лента Дона, запруженного грязными барками, баржами, плотами, заводами. Хлеб идет по дорогам, хлеб идет по воде, — и огромная парамоновская верфь принимает его, парамоновская мельница перемалывает его, а город рассказывает устами обывателей парамоновские семейные новости, принимает парамоновские пожертвования. Это — именитые оседлые богачи, но есть и богачи-номады. Те приходят-уходят. Они продают то, чего никогда не видели в глаза, продают тем, кого тоже еще не видели, и часто перепродажа обогащает десятки прежде, чем вещь пригодится кому-нибудь из купивших.

Прислушайтесь к языку: ростовский язык — это кратчайшая линия между двумя точками, жаргон, образующим ферментом которого явилась экономия. Отсюда — подсобное значение жеста. Но как здесь жестикулируют! Не вдохновенно-бестолково, подобно одесситам, а скорей таинственно, как глухонемые. И армянский, греческий, еврейский, американский, хохлацкий, немецкий акценты здесь сбились в дробную стучалку, понятную только тому, кто участвует в ее хоре.

Где наживают, там не любят тратить. Ростов почти не украшается; и все благие начинания, школы, библиотеки, театры, едва став на ноги, клонятся к упадку либо перекочевывают на другую почву: так распались на моих глазах две хороших художественных школы, библиотека, консерватория, лучший молодой театр».

Октябрьскую революцию 1917 года Мариэтта Сергеевна встретила на Дону. Своё восприятие и понимание этого события, свою восторженность по этому поводу она описала в статье «Не утопия, а реальный опыт».

«Для меня Октябрьская революция была великим счастьем, счастьем победы Справедливости и Добра на Земле. Я считаю большой удачей для себя, что встретила Октябрь, застряв во время войны 1914 года в городе моей матери Нахичевани-на-Дону, когда возвращалась из Гейдельбергского университета в Россию через южную нашу границу. Это был пригород большого рабочего, революционно настроенного города Ростова-на-Дону. После того, как на севере произошла Октябрьская революция, мы на юге оказались под властью денкинцины. Почему я пишу — это было удачей для меня? Потому, что мое прежнее окружение, буржуазные поэты и писатели Петербурга и Москвы, часть тех, в среде которых я находилась, встретили Октябрьскую революцию непониманием того, что она внесла в мир, отсутствием подлинного чутья истории, ожесточением

и враждебностью. Мы же на юге, и моя тамошняя среда в чудовищной атмосфере последних судорог отжившего строя, его гнусностей и жестокостей, ждали переворота как спасения и освобождения. Мы ждали его активно. У нас были подпольные кружки, мы встречались с рабочими пролетарского Темерницкого района. К нам доходили иногда запретные большевистские издания. Я много раз писала позднее, какую огромную роль сыграло для нас первое чтение «Двенадцати» Блока...

Когда Октябрь хоть с опозданием, но дошел до нас, это было переживанием самого огромного счастья в моей долгой жизни. Трудно описать состояние этого счастья, выпавшего на долю нашего поколения. Далекие потомки будут завидовать нам, что мы были современниками этого чуда — Октября. Есть на языке человечества не то медицинское, не то психологическое, не то философское слово «эйфория». Оно говорит о величайшем, предельно высоком подъеме в человеке лучших качеств, как бы полном обмене в нем веществ, полном, лишенном всяких других оттенков, чувств освобождения, совершенной легкости, словно чьи-то тяжелые, железные лапы вдруг сняты с твоих плеч и тебя не покидает летящее, пронизывающее ощущение абсолютной правды, абсолютной свободы, обретенного счастья, где нет ни «я», ни «ты», а есть целое — человечество, — и ты в нем, ты — оно... Вот так было пережито мною и моим поколением единомышленников, кои чудо Октябрьской революции».

2 декабря 1917 года власть в городах Нахичевани и Ростове была захвачена казачьими войсками атамана Каледина.

23 февраля 1918 года Ростов и Нахичевань взяты отрядами Красной Гвардии.

8 мая 1918 года немецкие войска и белогвардейцы захватили Ростов и Нахичевань.

9 января 1920 года Ростов и Нахичевань были взяты войсками Первой Конной Армии.

Эту сухую хронологию событий М. Шагинян переложила на язык художественного описания, происходящего в повести «Перемена». С присущей ей правдивостью и основательностью она нарисовала убедительные картины того времени. Чтобы убедиться в этом, обратимся к отдельным фрагментам этой книги.

«Из года в год в одноэтажных особнячках предместья Ростова, с лепными карнизами и приспущенными жалюзи на зеркальных окнах, жизнь текла привычным порядком. По вечерам, за полночь, сидели гости и играли в карты. Прислуга на кухне сквозь сон готовила, смотря по сезону, все тот же одинаковый ужин: осенью резались на закуску помидоры и огурцы, делалась «икра» из вареных баклажан,

вынимался из банок плачущий, белый, пахнущий остро сыр брынза, вспарывалось текущее жиром бронзовое брюхо шамайки; травы всех наименований и запахов, от укропа до белого испанского лука, клались отдельно, опрыснутые водой, на тарелку; и на печи, засыпанной крупным углем, подогревался бараний соус с бобами, — а босые ноги шелестели уже по красному деревянному полу на террасу, где накрывался стол, ставились свечи в стеклянных колпачках от ветра и падали, ушибаясь о них, крупные пахучие жужелицы. Зимой и весной граненое стекло поблескивало в старинном трюмо, и чинный столовый стол заставлялся холодной закуской, а из темных буфетных комнат, где пахло мускатным орехом, гвоздикой, ванилью и пробками, выносились цветные графинчики.

Гости играли до ночи и ушли доигрывать в клуб, оставив спящую стоя прислугу подбирать со стола тарелки и засыпать солью красные винные пятна на скатерти. Хозяин утром вернулся домой с газетой в руках. Он прошел гостиную, кабинет, будуар, коридор, затянутый линолеумом; в спальню вошел не на цыпочках, жену за плечо взял без всякой осторожности и голоса не понизил до шепота, когда сказал так, что услышалось в коридоре:

— Вставай! В Петербурге революция, Николая убрали.

Потом самые разнообразные люди в Нахичевани-на-Дону поздравляли друг друга, мало понимая, почему они радуются. Потом город убрался, принарядился, школы распустили учеников, городская дума устроила заседание, и под портретами государей читались вслух телеграммы об отречении голосами торжественными и полными, словно это было личным удовлетворением каждого из читающих.

Начались митинги, и легкость вхождения в революцию все продолжалась».

События 1917 года начинались мирно. Затем они переросли в отдельные стачки, а стачки — в кровопролитные схватки.

«С Дона на барже поставили пушку большевики-моряки, навели и обстреливают: ухнул первый снаряд, вышел новый приказ — от кого неизвестно: «С линий первой и по одиннадцатую, с улиц Степной, Луговой, Береговой и Колодезной всем перебираться повыше к собору и прятаться там по подвалам».

Под пулями обезумевшие толпы новых беженцев ринулись на исходе дня расквартировываться повыше, и снова кудахчут оторопелые куры и пронзительным, острым, как уксус, визжанием сопротивляются поросята сжимающей их за ногу и куда-то волочащей веревке. Подвалы переполнены, хозяев не спрашивают, лезут, где есть калитка, а заперта — стучат остервенело, пугая домовую охрану:

— Пустите, взломаем, пустите!

Но вот расселись по новым местам. Верхние этажи опустели. Снаружи хлопнуты и спущены жалюзи, внутри окна заставлены ставнями, свету никто не зажигает. В подвалах, вповалку, дыша друг на друга учащенным дыханием, прячутся люди, ругаются, молятся богу, советуют друг другу успокоиться и не волноваться. Но дети... смеются. Их одернут, они замолкнут — и расхохочутся. Им не смешно, — им до судорог весело от пьяной радости революции, им бы хотелось повибежать, быть лазутчиками, барабанщиками, сыпать пули, носить патронташи, выслеживать казаков, пробираться сквозь цепь и торопить подкрепление... А есть и такие между ребят, кто вслед за родителями мечтают побить большевиков и прогарцевать вместе с казаками на казачьих лошадаках важною рысью вдоль по Садовой, ко дворцу атамана...

И со Степной, где живет Яков Львович, дошли вести — там разорвался снаряд, кого-то убило. Скоро пришла еще одна весть: убило мать Якова Львовича. Плакала в этот вечер вдова и не удержалась, сказала Кусе:

— Вот видишь, а тебе бы все радоваться.

К вечеру пули усилились, сыпались, словно горох, а над ними стоял непрекращающийся гул от разрыва снарядов: бум, бум, бум... Беженцы затыкали уши руками, держали детей на коленях, ни глотка не могли проглотить от тошного страха кто за себя, кто за близкого, кто за имущество. Но наутро вдруг стало тихо, как после землетрясения.

В ворота спокойно вошла молочница, баба Лукерья, с ведром молока и степенно сказала домовою охране — студенту, стоявшему за учредилку:

— Большаков-то выкурили. Чисто».

«Вышли, еще не веря и протирая глаза, отсидевшиеся из подвалов, покупали бутылками молоко и расспрашивали подробности. В открытые ворота уже видно было, как проскакало с десятков казаков по улице, мрачно обмеривая обывателей взглядами.

Начались обыски по квартирам. Искали рабочих, оружие красногвардейцев. Брали же деньги, вино, кто и шубу снимал или брюки с вешалки, — что поближе висело. Обыватели кланялись, клялись, что и не думали, чисты, как перед богом.

На площади перед собором — казачья стоянка. Фыркают лошади, приподнимая хвосты и наваливая груды навоза, переступают копытами с места на место. Седла с навьюченным фуражом им нагрели вспотевшие спины. Винтовки перевязаны в кучку, штыками кверху, и прислонены к ограде собора. На самой паперти развели костер, кипятят свои чайники, охлаждаемые ветром и снегом. Снег падает легкий и мелкий; влетает пыльцою в рот при разговоре, а под ногами не набирается вовсе.

В городе вышли газеты. Город стал — город казачий. Казаки приказывают, казаки хозяйничают, и городская дума с достоинством выступила: «Так же нельзя. Мы очень рады казакам, мы очень благодарны за доблестное очищение, но город — он город свой собственный, а не казачий. В городе есть думские гласные, есть, наконец, члены управы, письмоводители, городской голова, и что же им делать?»»

Но казаки не слушают, каждый казачествует, как ему любо, ссылаясь на атамана, властителя края: быть теперь Дону под атаманом!

Между тем на Степной, со стороны последней, тридцать второй линии видели люди: гнали казаки перед собою рабочих. Рабочие были обезоружены, в разорванных шапках и шубах, с них снимали что было получше. Когда останавливались, били прикладами в спину. Их загоняли в Балабановскую рощу. Там издевались: закручивали, как канаты, им руки друг с дружкой, выворачивали суставы, перешибали коленные чашечки, резали уши. Стреляли по ним напоследок, и, говорят, было трупов нагромождено с целую гору. Снег вокруг стоял, собаки ходили к Балабановской роще.

Что же казаки? Как это они обманули надежды всех, кто «в стратегическом отношении» стоял за укрепление фронта? А казаки... кто их поймет! Одни, отстреливаясь, отступали от большевиков, шаг за шагом покрывая трупами степь. Другие с оружием и со знаменами переходили к большевикам и сдавались:

— Товарищи, больше не можем. Точно служить генеральским последышам против Советов. И мы ведь из безземельных. Чего там, и мы за Советы!

Все малочисленнее круги отступающих, все многочисленнее отряды переходящих. Но отступавшим уже отступить было некуда. Их зарубали по улицам, перестреливали по углам, вытаскивали из подъездов.

Вышли оторопелые люди, протирая глаза и робко заглядывая за ворота.

А там уже людно. Соборная площадь залита рабочими, красноармейцами, городской беднотой. Лица сияют, красное знамя взвилось у дверей комендатуры, перед участками, перед думой. Мальчишки-газетчики, торговки подсолнухами, подметальщицы снега, трамвайные кондуктора, почтальоны безбоязненно ходят по улицам, на их лице праздник, да и все улицы стали их!

По новому стилю готовились к празднику Первого Мая. Но праздник сорвался. Первого мая, как ястреб, над Темерником закружился немецкий аэроплан и сбросил бомбу.

Уже гайдамаки с колоннами немцев двинулись к городу. Уже застреляли откуда-то сбоку корниловцы, в город ворвались, ринулись на штыки, думая, что

гайдамаки подходят. Но большевики окружили ворвавшихся. Один за другим корниловцы были обезоружены и перебиты.

Вновь зазююкали в городе, разносясь со змеиным шипеньем, пульки. Страх сковал челюсти. Старики молодели от страха. К ночи в саду или темном подвале прокапывали дыру и зарывали длинные тубики рубликов, скатанных вместе, обручальные кольца, столовое серебро или, кто побогаче, — червонцы. Когда-нибудь внуки искать будут клады — много кладов сейчас позакопано на Руси! Ночью спали одетыми, вздрагивали, чуть сосед шевельнется, ждали обысков и при стуке крестились, словно в ночь на молонью (молнию. — Ред.). А в Ростове неведомым юношей, именовавшим себя «старым литератором», как ни в чем не бывало собран, проредактирован, прорекламирован, отпечатан и пущен в продажу журнальчик «Искусство».

А на Батайск отступили остатки гибнущих красных. Стойко дрались за каждую пядь. Трусами покрывали весеннюю степь и валились с десятками ран друг на друга, живыми курганами. В воздух текли от них струйки дыханья и пара: то в холод апрельского вечера теплая кровь испарялась».

Красные снова приблизились к городу, не партизанским отрядом, а регулярную армией. Сыплются пули, наполняя жужжанием воздух. Обыватели, как услышали выстрелы, полезли каждый, крестьясь, на знакомое место. Опустели дома, переполнены погреба и подвалы. Страх сводит челюсти, от тошнотворного страха язык разбухает во рту, как морская медуза. Еле ворочается, выговаривая слова; и пухнет, падая, сердце.

Стонут, бегут, догоняя друг друга, снаряды и разрываются возле самого уха, близехонько. Окна трясутся, танцую стеклянные трели. Их не заставили ставнями в спешке, и окна, трясясь, звонко лопаются, рассыпаются, словно смехом, осколками. Тр-рах! — торопится где-то ядро. Бум-м! — вслед за ним поспекает граната. Трах! Городу крах, кр-рах, тр-р-рах! Пушки не скупятся, артиллеристы играют...

...Ни души на пустынных улицах, ни души у ворот, и никто не засмотрится в окна. Жутко на улицах, прячутся по подворотням неизжитые призраки ночи. И осторожно, шаг за шагом, без шума, без музыки, молчаливо-суровые, с четкими профилями под богатырскими шлемами, с красной звездой на лбу, углубляются в улицы всадники.

Вычищен город от белых до последнего белогвардейца; одно за другим возвращаются учреждения. Уже разместился на месте штаб телеграфной команды, автомобиль с политкомандой и военные части вернулись, и, подводу ведя за подводой, на старое место въезжают весельчаки-фуражиры.

В 1923 году редактор журнала «Красная новь» А. Воронский писал Мариэтте Шагинян: «Знаете, очень ваши вещи нравятся тов. Ленину». Позже Мариэтта Сергеевна скажет: «Этот дорогой сердцу отзыв Владимира Ильича светил мне всю жизнь».

Совет заработал, взвив красное знамя. Оклеены стены воззваниями. Дока- тился до юга России плакат с цветною картинкой, с неутомимым стихом, подпи- санным: «Демьян Бедный», — новым для юга России поэтом. Тысячами плакат запестрел на стенах и на тумбах. И, подходя, обыватель почитывает веселые строчки о генерале, попе и помещике, понемногу от ужаса, как от стужи, ото- греваясь в улыбке.

Все ожило в городе. Словно распахнуты двери в необъятную ширь горизонта, словно начата песня звонким голосом запевалы, и не предвидится ей конца — входит в душу сознание наступающей жизни».

Эти фрагменты из повести «Перемена» помогают понять то, чем занималась М. Шагинян на Дону, как восприняла и описала события того времени. Перемена в жизни нахичеванцев происходила тяжело, с огромными жертвами, с ломкой обычаев, норм и привычек.

«Страшно видеть тебя лицом к лицу, Перемена! — писала она.

Обживаются люди короткой веревочке времени, данной им в руки. Обойдут по веревочке от зари до заката короткий кусочек пространства, данный им под ноги. Всё увидят, запомнят, в связь приведут, каждой вещи дадут свое имя. И между ними и между вещами ляжет выровненная дорожка, из конца в конец вы- хоженная своим поколеньем. Ей имя — привычка.

Станет тогда человек ходить по дорогам привычки. И нетрудно ногам, сту- пившим на эти дороги: вкось или прямо, назад иль вперед, а уж они доведут человека до знакомого места.

Только бывает, что вырвет веревочку распределитель времен из рук поколе- нья. Тогда из-под ног поколенья выпорхнет птицей пространство. Остановится человек, потрясенный: не узнает ни пути, ни предметов: боятся шагнуть, а уж к нему тяжелой походкой, чеботами мужицкими хряско давя что попало, руками бока подпирая, дыша смертоносным дыханием, чуждая, страшная, многоочитая, как вызвездивший небосклон, чреватая новым, подошла — Перемена. Неотврати- ма, как смерть: ее, если хочешь, прими, если хочешь, отвергни, — все равно не избегнешь.

И, как смерть, лишь тому, кто доверится ей, заглянув многоочитый взор, — она сладостную, сокровенную радость подарит и на смертные веки его положит нежную руку. Перемена, освободительница всех скорбящих!

Каждому, кто под небом живет, дано пережить не однажды предчувствие смерти. Опархивает оно, словно бабочкины крыла, ваш лоб в иные минуты. И певцу твоему, Перемена, тронул волосы тот холодок.

Встало сердце, холодом сжатое, как привидение в саване, как мороз, проходящий по коже. Все вспомнило сразу: созревания вещей любовью, опавших до срока; закипания крови, другой никогда не зажегшей; мудрую нежность, источившуюся на бесплодных; погоню за призраками, — и за тобою, последний, ты, с седыми бровями и невеселым пристальным взглядом, отчим с гор Прикарпатских, колдун, так сладко любимый!..»

В этих словах звучит явное предостережение всем энтузиастам разных перемен и в наши дни. Всякие перемены — дело больших рисков, сопряженное с невосполнимыми утратами, и не всегда ведут к улучшению жизни людей.

Глава 5.

Музыка в жизни Мариэтты Шагинян. Встречи с Сергеем Рахманиновым

Мариэтта Сергеевна примечала все интересное, доброе, светлое, прекрасное в жизни нахичеванцев. В маме она высоко ценила ее необыкновенную музыкальность. Таня! Дыры!

«Все сестры Хлытчиевы, — по ее словам, — были одарены слухом, свойством легко осваивать чужой язык и талантом вести хозяйство. Но мама была у них музыкальным феноменом».

«Самые незабываемые были в исполнении матери опереточные галопы, которыми кончался последний акт. Заразительный, сумасшедший ритм их несся с чеканным блеском под ее пальцами-молниями, колени, слушая его, начинали дрожать, пятки забирали по кусочку, по маленькому шажку пространство направо, отмеривая его всем корпусом, один шаг за другим, все направо, вперед и вперед вместе со стремительной музыкой, левая рука нашаривала ладонь соседа, чтобы потянуть его за собой, и по комнатам, по всей квартире неслись мы с сестрой в этом полутанце, полубеге, забытом в эпоху дурацких и судорожных твистотрясок, отучающих тело от танца...»

«Кроме пальцев-молний для игры на рояле, руки моей матери были, как говорится, золотыми. Ей все, за что ни возьмется, удавалось. Когда стало дорогонько платить портнихе, она принялась обшивать нас сама и делала это с большим вкусом. Нужно было готовить, особенно при болезни отца, — и она просто колдовала на кухне, изобретая необыкновенные диетные блюда. Стоило завестись у нас собаке или кошке — и они сразу «благовоспитывались», усваивали нужные условные рефлексy, ходили вымытые, расчесанные, со здоровыми глазами, зная свой час гулянья и свою лежанку. Цветы на подоконниках и трельяжах никогда не хирели, птички в клетках, купленные на «вербе» или на

птичьим рынке, жили-были и суетливо распевали вплоть до весеннего праздника, когда полагалось выпустить «птичку Божию» на волю, выполняя старинную традицию на Руси. Приходившие к нам служить неграмотные кухарки уходили от нас навсегда обученные грамоте, — обычай, перешедший после смерти матери в обязанности моей сестры. Но самое главное свойство матери, должно быть, присуще многим другим матерям, была легкость и необременительность добра, которое она делала для других».

Музыка была неотъемлемой частью духовного богатства М. С. Шагинян. Музыку она любила. Музыке она посвятила многие свои творения. С глубоким пониманием и теплотой она написала книгу о чешском композиторе XVIII века Мысливчеке. Она долгие годы дружила, сотрудничала и переписывалась с С. В. Рахманиновым. Несколько встреч с выдающимся исполнителем и композитором произошло в Нахичевани.

«Музыка... но ведь и у меня началось именно с музыки, как все начинается с музыки, с первого музыкального лепета вашего ребенка, с первого звука материнского голоса, поющего колыбельную, со щекота птички за окном, с песни дождевой капли, с шума листьев под ветром, с беззвучной музыки любимого лица, любимого воспоминания, взятого могилой».

Об одухотворяющем влиянии музыки Мариэтта Сергеевна писала часто и подробно.

«Думаю, что каждый человек... испытывает нужду по-своему. Некоторых надо растрогать, разворошить ею, потому что они слишком налажены и сухи в себе. Другим — доставить простое чувственное удовольствие. Третьи слушают и даже не задумываются, что им делает музыка, какими они были до ее слушания и какими стали после. Для меня действие, оказываемое музыкой, — это решающий фактор, решающий для суждения о ней, и, например, Шостаковича я люблю, забыв про всяческие истолкования, потому что всякий раз музыка его зажигает мою мысль и волю и — при всей глубине ее трагичности — вселяет в меня мужество, бодрость, свежесть; поднимает, снимает усталость. И музыку Мысливчека я сразу полюбила за то, что она показалась мне моей музыкой, музыкой строго логичной, наслаждение которой связано с процессом отдохновенного мышления. А мышление, как это хорошо знают думающие люди, отдыхает не тогда, когда оно молчит и не дается человеку, а лишь тогда, когда начинает работать и захватывать вас, самой большой страстью, знакомой человечеству, — страстью к познанию. Наука лишь начинает подходить к вопросу о действии музыки, то есть организованного гармонического потока звуков, на окружающий мир. Давно уже знают о восприимчивости к музыке животных — собак, змей. Но вот совсем недавно ученые-биологи Индии, доктора Сингх и Панья, экспериментируя с электронными микроскопами, открыли действие музыки на растения! Она,



как оказывается, быстрее гонит соки в клетках, ускоряет рост растений. Можно ли предположить, что человек с его тончайшей структурой органов восприятия, со всей его нервной системой, разветвленно вбирающей организованную волну звуков, остается таким же, без всякого психо-физиологического изменения, каким он был до прослушивания, скажем, Девятой Бетховена или «Неоконченной» Шуберта, и после того, как прослушал их? И не окажется ли тут, в итоге большого научного экспериментирования, возможность объективного критерия искусства, именно объективного, — там, где всегда мерещился субъективный?

То, что происходит в человеке под влиянием музыки, — незримый, незнанный движок в сторону различных состояний психики, — и есть, в сущности, тайна магии музыки, которую познает и широко применит в воспитании и культуре чувств умудренный человек будущего».

С ранних лет Мариэтта Шагиня к музыке относилась как к волшебству, способному преобразовать человека, наполнять его душу и сознание светом и добром.

«Когда-то я усвоила в детстве от своих первых учителей: единственный верный критерий музыки — это характер её действия на слушателя. Если она очищает, организует, поднимает его душу, возбуждает благородные и мужественные начала в нём, помогает ему бороться с хаосом, со стихийностью, с низменными началами характера, направляет его на большие исторические свершения, наконец, соединяет его со всем человечеством, значит — это настоящая музыка, идущая в авангарде своей эпохи. И если, наоборот, она развязывает в человеке его низменное, чувственное, хаотическое, мельчит и разрушает душу, то в какие бы оригинальные одежды ни была обряжена такая музыка, — она реакционна, лжива, вредна, противна самой природе того, что греки называли «мелосом»».

Со всей присущей ей страстностью Мариэтта Сергеевна восприняла музыку С. В. Рахманинова, поверила в него, поняла «историческую нужность его музыки, прогрессивность ее, в тысячу раз большую, чем все формальные выдумки модернистов». По своей инициативе начала вести переписку с ним, а впоследствии лично познакомилась, встречалась и оказывала самые разные творческие услуги.

«Тщательно отыскивая каждую новую черту и чёрточку в даровании Рахманинова, постоянно указывая на его гениальную одарённость, создававшую в слушателе безграничное доверие к Рахманинову — композитору и исполнителю, доверие, словно он берет вас за руку и ведёт, и вы знаете, что выведет; наивно разбирая иной раз любимые мною его вещи (и прежде всего Второй концерт), чтобы оттенить то, чего не было у Чайковского, чего нет у «кучкистов», что присуще ему одному, как современнику Чехова, Толстого, Левитана и т. д., я упорно убеждала его, что он нужный народу творец, обязанный решить историческую задачу, противостоять разладу и неразберихе в музыке, мистике и теософии и

«Милая моя Ре, Вы на меня не рассердитесь, если я обращусь к Вам с просьбой? И если исполнение этой просьбы не доставит Вам большого труда, исполните ли Вы её? Сейчас скажу, как и чем Вы мне можете помочь... Мне нужны тексты к романсам. Не можете ли Вы на что-либо подходящее указать? Мне представляется, что «Ре» знает много в этой области, почти всё, а может быть, и всё. Будет ли это современный или умерший автор — безразлично! — лишь бы вещь была оригинальная, а не переводная и размером не более 8–12, максимум 16 строк. И ещё вот что: настроение скорее печальное, чем весёлое. Светлые тона мне плохо даются!»
Из письма Сергея Рахманинова к Мариэтте Шагиня. 15 марта 1912 года.

«Милая Ре, на днях закончил свои новые романсы. Около половины из них написаны на стихи из Вашей тетради. Переименую Вам сейчас слова, на тот случай, если Вас это заинтересует. А. Пушкина: «Буря», «Арион» и «Муза» (последний посвящаю Вам). Тютчева: «Ты знал его», «Сей день я помню». А. Фета: «Оброчник», «Какое счастье». Полонского: «Музыка», «Диссонанс». Хомякова: «Воскресение Лазаря». Майкова: «Не может быть» (написаны на смерть дочери). Коринфского: «В душе у каждого из нас». Бальмонта: «Ветер перелётный» <...> Всеми романсами, в общем, доволен и бесконечно радуюсь, что дались они мне легко, без большого страдания. Дай бог, чтоб и дальше так работа продолжалась». Из письма Сергея Рахманинова к Мариэтте Шагинян. 19 июня 1912 года.

восстановить линию развития передовой русской музыкальной культуры. Каждое моё письмо было для меня самой творчеством: убеждая его, я училась дальше тому направлению в искусстве, которое ему «проповедовала» как его собственное. По ответным письмам я знала, что именно такого отношения и недоставало ему, и если чем-нибудь можно было ему помочь, так именно таким широким взглядом на его роль в русской музыке».

О встречах в Нахичевани М. С. Шагинян записала в своём дневнике следующее. «Осенью 1915 года в Ростовской-на-Дону газете «Приазовский край», читавшейся и в Нахичевани-на-Дону, появилось извещение: Сергей Васильевич даёт в Ростове 20 октября фортепианный концерт из произведений Скрябина. Я всё ещё оставалась в Нахичевани с января 1915 года и не видела Рахманинова больше полутора лет. С большим волнением отправилась добывать себе и сестре билеты на 20-е. В дневнике моём на этот день короткая запись: «20-е октября, вторник... Вечером концерт С. В-ча, огромное впечатление. Он исполнял скрябинскую фантазию и 10 прелюдий ни с чем не сравнимо... Был Гнесин и другие музыканты. Поговорили немного с С. В. в артистической». За этой короткой записью память восстанавливает мне очень многое. Исполнение Рахманиновым Скрябина для всех музыкантов и любителей музыки явилось полнейшей неожиданностью. Одни считали это с его стороны «дьявольским ходом», желанием «разоблачить, раздеть» Скрябина; другие возмущались «порчей» Скрябина, которого Рахманинов, по их мнению, огрубил и «превратил в «terre a terre»» (сделал чересчур земным), и что после «серебристого» исполнения самого Скрябина, в котором оживают все мельчайшие нюансы, слушать «прозаическую» игру Рахманинова просто невозможно. И, наконец, третьи (об этом писала и Анна Михайловна) видели в его исполнении Скрябина только «акт благородства, потому что он — благороднейший человек». Нам открылось в исполнении Рахманинова совсем другое, и при всей парадоксальности этого исполнения я сразу (на слух) почувствовала, что дело обстоит гораздо проще и серьёзнее. В артистической мы условились с Сергеем Васильевичем, что на следующий день в шесть часов вечера он придет к нам. Весь день 21-го так и назван у меня в дневнике «День С. В.» Мать моя захлопоталась, чтобы угостить его традиционными армянскими блюдами («хоть и не итальянские, а тоже вкусно»), флигелёк наш мы приубрали, все наши соседи, жившие поблизости, вышли из домов, чтобы посмотреть на него «хоть краем глаза». Он приехал из Ростова на трамвае и оставался всего часа полтора, так как вечером же уезжал на концерты в Баку».

Вторая встреча Мариэтты Шагинян с С. В. Рахманиновым в Нахичевани состоялась 5 ноября 1915 года. Об этой встрече можно судить по следующим воспоминаниям.

«Это был очень необычный разговор. После ужина, до которого Рахманинов почти не дотронулся, он по привычке ссутулился на старом дедовском кресле

и спросил меня очень тревожным и нерешительным тоном: «Как вы относитесь к смерти, милая Ре? Боитесь ли вы смерти?» В то время я ещё не знала чувства «страха смерти» и ответила, что никогда о смерти не думаю и живу с таким чувством, словно буду жить вечно. Только спустя тринадцать лет я припомнила этот вопрос и смогла себе представить, с чем приехал тогда ко мне Сергей Васильевич. В 1928 году мне тоже пришлось пережить страх смерти, то есть вдруг со страшной ясностью представить себе, что ты должен умереть и что этого не избежать. Но как только ясно осознаешь, что обязательно умрёшь, становится на некоторое время непереносимо страшно. Несколько недель преследует эта «ясность сознания»: «все умирают — я умру». Я не могла долго сидеть в кинематографе, смотреть, как движутся кадры, — со мной вдруг делался припадок ужаса смерти; среди разговора я внезапно холодела, и язык становился тяжёлым во рту; в дороге — внезапно забежала в аптеку и просила дать валерьянки. Не выдержав этих состояний, я сказала о них моей матери, и она тогда ответила: «Это пройдёт. Так бывает в определённом возрасте с каждым человеком, а потом проходит, и будешь жить по-прежнему, словно смерти нет». С тех пор я отвечаю и детям, и близким, как мне ответила моя мать, — но в то время дать этого лучшего и вернейшего из ответов Сергею Васильевичу я не могла. Он, впрочем, как будто и не надеялся на ответ, а скорее стремился поделиться своим состоянием, чтобы найти в этом облегчение.

Две пережитые одна за другой смерти — Скрыбина и Танеева — страшно подействовали на него, а тут ещё попался какой-то модный роман о смерти, и он вдруг заболел её ужасом.

— Раньше — трусил всего понемногу, — разбойников, воров, эпидемий, — но с ними по крайней мере можно было справиться. А тут действует именно неопределённость, — страшно, если после смерти что-то будет. Лучше сгнить, исчезнуть, перестать быть, — но если за гробом есть ещё что-то другое, вот это страшно. Пугает неопределённость, неизвестность!

— А христианство две тысячи лет утешало людей загробной жизнью и личным бессмертием, — ответила я, — как странно, что две тысячи лет утешались, а сейчас именно этого и боятся.

— По-моему, совсем не утешались, — ответил Рахманинов, — наоборот, запугали до одури всякими адами и чистилищами. Личного бессмертия я никогда не хотел. Человек изнашивается, стареет, под старость сам себе надоедает, а я себе и до старости надоел. Но там — если что-то есть — очень страшно.

Он вдруг как-то побледнел, и даже дрожь у него по лицу прошла. В это время моя мать принесла из кухни и поставила перед ним поджаренные в соли фисташки. Эти фисташки он очень любил, и мы всегда заготавливали их для него во

множестве. И сейчас он, незаметно для себя, увлёкся ими, а потом придвинул к себе тарелку, посмотрел на них и вдруг засмеялся: «За фисташками страх смерти куда-то улетучился. Вы не знаете, куда?»

Много ещё было говорено в тот вечер. У нас служила тогда девочка четырнадцати лет, Маша, редчайшей красоты, такой, мимо которой нельзя пройти, не остановившись. Когда она открыла ему дверь в передней, он долго ею любовался, потом сказал мне: «Такая красота — большой, редкий талант, берегите эту девочку, чтобы её не увели от вас и не испортили». И ещё добавил: «Удивительный глаз у Чехова, — ведь он своих «красавиц» нашёл именно в этих краях, — кажется, где-то в Донской области, помните его рассказ? И ведь это верно, я всё время в Ростове оглядываюсь на девушек». Машу мы не сумели уберечь, — её мать взяла её у нас и выдала замуж за какого-то старого богатого купца. А Рахманинов вспомнил её ещё раз в 1917 году, опять в Ростове, когда мы встретились у Авьерино и там была удивительная красавица, тогда его невеста, а позже жена Авьерино, Мара. Судьба Мары Авьерино трагична. С юных лет эта красавица стала ухаживать во время эпидемии сыпного тифа за больными. Она долго не заражалась и говорила, что у неё «иммунитет». Но вот, будучи уже замужем и ожидая ребёнка, она всё-таки опять пошла в госпиталь, заразилась и умерла. Перед ней тоже нельзя было не остановиться, так необыкновенно хороша была эта Мара. Сергей Васильевич шепнул мне тогда тихонько: «Видели? Опять ростовчанка. Ну не колдун ли Чехов? Я таких, как эти Маша и Мара, нигде, никогда не видывал».

Ушёл он от нас вечером 5 ноября очень поздно, а на следующий день был его концерт. Играли Трио, — с очень неудачным скрипачом. На бис он сыграл «Полишинеля» и переложенную для рояля «Сирень». Мать моя нажарила в соли фисташек (по его просьбе), и мы отвезли их ему на вокзал как «средство против страха смерти».

Наша предпоследняя встреча, 26 января 1917 года, была в Нахичевани. Проездом через Ростов, где Сергей Васильевич давал очередной концерт, он прислал мне с письмом свои новые романсы и позвал встретиться на квартире Авьерино, жившего в то время при музыкальном училище:

«Милая Ре, только сегодня, с большим опозданием, приехал в Ростов. Завтра утром выезжаю, чтобы больше сюда не возвращаться. Хочу Вас очень видеть, но к Вам попасть не могу. Может, Вы согласитесь ко мне прийти сегодня, перед концертом, в Музыкальное училище!? Мы будем одни, обещаю Вам. Так часов в шесть вечера. Можно будет посидеть часа полтора. Я буду играть, а Вы мне будете что-нибудь рассказывать! Хорошо? Посылаю Вам свои романсы.

Искренно Вам преданный С. Р.

26-е января 1917.

Дайте ответ».

Два часа мы с ним просидели у рояля, — я «рассказывала», а он упражнялся перед концертом. Мне было обидно, что шесть романсов на «мои», так любовно подготовленные для него, тексты он посвятил Кошиц, а он отшучивался на упрёки. Потом вместе поехали на концерт, где он играл свои сочинения: Вторую сонату, Вариации на тему Шопена, Этюды-картины, а на следующее утро он уехал в Таганрог».

Нахичеванские встречи М. С. Шагинян и С. В. Рахманинова были символическими. Их роднила общность в понимании музыки и её роли в утверждении добра и человечности.

Они оба признавали «просветленность», «благодатность» музыки. «Красота, — писала М. С. Шагинян, — тут не просто красота звучания; она рассказывает о пережитом, душевном страдании, раскрывает перед вами человеческую душу в минуту ее сильного скорбного чувства, которое никогда не передает человек даже близкому другу в слове, настолько оно интимно и несказанно для него; несказанно, потому что тут не только боль, но и преодоление боли, не жалоба, а высветленное отречение, возвысившееся над своим страданием».

«Не знать музыки так же постыдно, как не знать грамоты», — утверждала она. Мариэтта Сергеевна считала, что общее образование не только может, но и должно идти рядом с образованием музыкальным.

Глава 6. Нахичеванские уроки

Общение с нахичеванскими армянами, встречи с людьми разных национальностей, разных социальных положений и культур многому её учили. Она умела учиться у жизни, у людей, набиралась духовных сил и творческой энергии и каждый свой шаг в жизни осмысливала. Ей было интересно думать. Она думала даже о том, почему интересно думать. «Почему интересно думать? — спрашивала она. — Солжете, если напишете, что предмет размышлений сам по себе интересен или серьезен, — он может быть каким угодно, о чем угодно. А думать и шагать все равно интересно, потому что жизнь нетороплива.

Она такая неторопливая, как огромный степной простор; ее течение отдано вам без всяких «но». Утром вы ходили по двум-трем урокам, заработали на хлеб; днем побывали на семинаре, прослушали лекцию, сдали, зачет; но вечер — до самой ночи — ваш собственный, и мысли ваши тоже собственные, их никто не слышит, не видит, они идут себе как снежинки, облака, тени деревьев, ни о чем и ни для чего, если хотите — ленивые, но разве это лень, когда гусеница сидит в коконе или медведь засыпает зимой, сося свою лапу (так по крайней мере в

«Горе каждому, кто потерял потребность в человеческой любви, в привязанности хотя бы к малому клочку жизни на нашей родной планете Земля».

Мариэтта Шагинян.

Из статьи, опубликованной в «Правде» в мае 1980 года, к 75-летию М. А. Шолохова.

детских книжках)? Замечательно и необходимо человеку хоть на час в сутки становиться кусочком природы. Мы это забыли. Мы набиваем свободные минуты мероприятиями. Мы думаем, что свободное время — это дыра во времени и дыру надо забить, чтоб человек не скучал и не проводил время без пользы. Но в том-то и дело, что время нельзя «проводить». Время течет и дышит, вдыхаемо и осязаемо, оно — сама жизнь, существо жизни, и нет ничего отраднее, как отдаваться его течению, словно плыть на спине, глядя в небо. Налаживая и настраивая время в себе, как великий ритм жизни, вы собираете силы для мышления и для творчества».

В своих размышлениях М. С. Шагинян никогда не отрывалась от документов и свидетельств современников, от собственных наблюдений и фактов жизни, от всего комплекса обстоятельств того времени. Для неё «аромат местности», «воздух своего времени» не был безразличен, в своих мыслях она всегда тянулась к земле, на которой жили люди, к воздуху, которым они дышат.

По любому поводу размышления Мариэтты Сергеевны наполнялись личным смыслом, глубокими, если не сказать потрясающими, переживаниями. Ей были чужды созерцательность, безразличие, равнодушие. Интересы её были безграничны. Её отличали любознательность, стремление вникнуть, осмыслить, выработать своё отношение ко всему тому, что она встречала на своем пути.

Творчество М. Шагинян характеризуется неустанным и активным участием во всех сферах общественной жизни как непосредственно, так и созданием художественных образов и публицистических произведений.

Стремление к изучению, к познанию той атмосферы, в которой жила, стремление искать ключ к разгадке человеческих тайн, к решению непростых жизненных проблем характеризуют жизнь и творчество Мариэтты Сергеевны.

«Не смотри, а пользуйся... Станным образом этот мудрый совет был точным определением метода моей исследовательской, поисковой работы. Мне кажется, все люди начинают именно этим методом — с того первого детского рефлекса, когда говоришь матери или няньке: пусти, я сам, я сама... Очень важно сохранить этот рефлекс на самостоятельность и пронести его через десятки лет жизни. Не глядеть, а участвовать, пользоваться, повторять на себе. В данном случае это означало — читать».

Есть хорошее правило: во всем убедись собственными глазами, все перетрой собственной рукой и землю перещупай, как поэт Шевченко учил, не чужими, а своими ногами». Этому правила придерживалась Мариэтта Сергеевна на протяжении всей своей творческой жизни. В ходе своих размышлений она пришла к выводу о том, что во все времена напряженно и непрерывно думали о том, как улучшить жизнь людей, как внести в нее больше радости, света и тепла. Когда

погружаешься в литературу, — писала она, «видишь как много времени тратили люди на мысль и к каким большим делам, если не сразу, то впоследствии, приводила эта мысль, оправдывая произведенную на нее затрату времени. Люди думали о существовании окружающих вещей — о существовании электричества, алхимических изменений, государства, свободной торговли зерном и монополии, обязанностях правителя, смысле жизни, феноменах природы, денег, музыки».

Размышления были направлены на познание тайн реальных явлений жизни, на постижение их смысла, ожидаемых результатов тех или иных человеческих поступков.

«Мир вокруг нас разноцветен, разноформен, кажется созданным, как букет из цветов, из разных сил, — вода колышется у берегов, костер возносит к небу свое пламя, земля разрыхляется под плугом, воздух входит в легкие с каждым вашим дыханием, молния зигзагом прорезывает небо, гром сотрясает его, как незримые колеса чьей-то колесницы, — человечество начинает с различения этих сил, с обожествления их, с политеизма».

В этом многообразии, многокрасочности М. С. Шагинян видела неиссякаемый источник человеческих размышлений. Жизнь требует постоянной работы мысли, осмысливания всего того, что окружает человека, что порождает как успехи, так и поражения. Она была по своему жизневосприятию оптимистом, человеком, сориентированным на лучшее, доброе, светлое в жизни.

Оптимизм она связывала обычно с прирожденной жизнерадостностью восприятия окружающего, с постоянной верой в будущее, веселостью, бодростью, то есть с таким настроением или, верней, состоянием психики, которое может быть присуще характеру человека со дня его рождения и дается сразу, как «ключ» к судьбе. Оптимизм начинается. Но к высветлению, благостности — приходят. Это не начальные, а как бы завоёванные, выстраданные состояния, возникающие после пережитого. С оптимизмом вы входите в жизнь, предваряете жизнь, и он помогает вам проходить через испытания. Высветление достигается лишь после испытаний, с ним никак нельзя «начать» жить, потому что природа его не первична, а вторична, она не предваряет, а как бы суммирует, осмысляет житейский опыт, выводится из него.

В своих мыслях, творчестве, поступках она всегда стремилась утверждать надежду на изменение к лучшему, честному, справедливому, на радужные перемены.

«Мы, жившие смолоду в старом мире и живущие сейчас в новом, — поколение, на счастье которого выпало видеть величайшую из перемен лицом к лицу, — мы знаем, что это такое — смена идеологии, когда эта система, как меч, проходит сквозь ваше сердце». Крутые перемены в жизни требовали мужества

мысли, способности переосмыслить свои жизненные ценности, не цепляться за старое, но и не отрываться от своих корней. Мариэтта Сергеевна обладала мужеством мысли, её никогда и никакие обстоятельства не останавливали сказать о выстраданном, о продуманном, выразить свои мысли и чувства.

«Мне кажется, такие переходные периоды имеют неувядаемую прелесть и ту невероятную жизненную силу, которая скрывается во всем, что связывает, то есть еще держит прошлое, уже ступив в будущее, потому что именно в этих минутах связи прошлого с будущим и сказывается самым явным, самым материальным образом движение времени (и с ним человечества) вперед. Никакая законченная стабилизация формы, никакой отрыв ее от времени, будь то резкий отказ от прошлого и скачок вперед в так называемом «левом искусстве» или резкий отказ от будущего и остановка в пути в искусстве консервативном, не обладают той жизненной, утверждающей силой, какую мы видим в этом «переходном периоде».

И замечательно, что именно в эти переходные периоды, когда будущее еще связано пуповиной с прошлым, еще только вскармливается и рождается, а не начало свое отдельное бытие (и, значит, движение к смерти) — именно в эти периоды искусство наиболее радостно, наиболее оптимистично».

М. С. Шагинян заполняла свою жизнь напряженной мыслительной работой, ценила и берегла время, избегала бессмысленного времяпрепровождения. Она выработала и придерживалась привычки к строгому деятельному режиму.

«Есть такая фраза-поговорка, знакомая из русской классики: «Береги честь смолоду». Я бы прибавила к ней еще другую, практически не менее важную: создавай себе привычку смолоду, с первых дней молодости! Привычку к определенной форме, определенной технологии труда. Это скажется во всей жизни, это принесёт огромные плоды на старости. С ужасом вижу я у части современной молодежи легкое и пустое отношение к времени; есть для него и слово, пустое и страшное,— «препровождение». Часы, дни проходят у молодого, полного сил существа на ничего. Напоминают ему: «Надо же успеть выучить, надо к такому-то успеть сделать!» — и получают в ответ: «Пустяки, наверстаю!» Наверстаю... Впереди много времени, версты и версты. Успеется. И время, материальное время, бежит, как пустой конвейер, на который ничего не положено. День не положено, месяц не положено, год не положено — впереди еще есть версты, наверстаю. Но когда пришел последний срок «наверстаать», оказывается, — молодой, энергичный человек наверстаать не может. Один-два раза выйдет, а вообще — не получается, не выходит, хотя есть еще и время для этого, и силы, и здоровье. Почему не получается? Попробуйте спросить у хорошего скрипача, месяцами не бравшего скрипку в руки: почему не выходит у него знакомый пассаж на фиоритурах? Да потому, что не было ежедневной тренировки пальцев, не было необходимой практики. Время не

резинка, время действительно. Пустое время между вами и вашим делом — пропущенное, препровожденное, — не оставляет за этот промежуток вас и ваши способности точь-в-точь такими, какими сии были до промежутка. Они, ваши способности, за этот промежуток притупились, деквалифицировались, назад пошли. И, наоборот, если б он, этот промежуток времени, заполнялся бы вами, как на конвейере, практикой и практикой, повторением, изучением, освоением определенной вещи, — то ваши способности и ваше умение за этот промежуток упрочились бы, приобрели квалификацию, вошли в привычку».

Мысль Мариэтты Сергеевны охватывала широчайший жизненный пласт, включая не только нахичеванских армян, но и представителей других народов, не только их прошлое, но и их настоящее и их будущее. Её умственный взор проникал не только в тайны мироздания, но углублялся в свой собственный мир. Её привычкой было осмысливать каждый прожитый день, можно сказать каждое мгновение. Частично это отмечалось в дневнике. Частично нашло своё отражение в её творчестве. Так, к примеру, анализируя один из периодов своей жизни, она писала: «Каков же был итог моего развития за годы 1908 — 1914? Мне кажется, он, в части положительной, накапливаясь по мере продвижения вперед, дал мне пониманье двух двигателей души человеческой, без которых не создается то целое, что мы называем в жизни одного лица его — «биографией», а в жизни всего человечества — его «историей». С какого конца ни посмотри на биографию любого икс-игрека, под сотней двигавших его сил мы всегда найдем эти два начальных, глубинных двигателя — убеждение и веру. К области убеждения относятся все оттенки работающего в человеке разума, все функции его мозговой деятельности: размышление, понимание, любознательность, критицизм; а к области веры — все чувства работающего в нем сердца: любовь, ненависть, самоотдача, преданность, привязанность, безоговорочное принятие. Разумеется, это лишь схема и, как все схемы, спорно, односторонне и надуманно. Однако в практической жизни такие упрощенные схемы, как простой и грубый инструмент в руке человеческой, помогают несколько разбираться в самых сложных переживаниях. К убеждению приходишь через разум, оно доказывается для тебя всем ходом познания той вещи, в которой ты должен убедиться, чтоб принять ее или отвергнуть. К вере приходишь через сердце и чаще всего через любовь, — и вера так сильна своим прохождением через любовь, через чувство, через предрасположение всего твоего характера и темперамента, что никакие рассуждения, никакие попытки разубедить, то есть подойти к вере с инструментом разума, не могут поколебать этой веры».

М. С. Шагинян была страстной в поисках истины, правды, справедливости, понимала плюсы и минусы страстей в жизни. «Какая это страшная вещь — страсти, — нарушающая благополучие любого общества, опрокидывающая его рамки. Страсть — в разных ее формах и видах — может вести к убийству,



самоубийству, бесчинству, зазнайству, разбою, хулиганству, наконец — безумию! Страсть уничтожает любовь, — вспомните хотя бы одну гениальную тему «Лейли и Меджнуна», легшую в основу многих древних поэм. Там удивительное дело происходит. Меджнун до того любит Лейли, которую ему не дают в жены, что заболевает; тогда испуганная родня соглашается наконец дать ему Лейли, — на, бери, женись. Но Меджнун (что означает «безумный») продолжает рвать на себе волосы от безнадежной любви, он не замечает, что Лейли уже дана ему в жены, он не может уже быть счастлив, потому что любовь его, сама любовь, от долгого отказа приняла характер безнадежности. (Удивительная глубина психологизма у древних поэтов!) Так вот вредный, ужасный, разрушительный характер страсти — казалось бы — должен побудить стремиться от них. И тут же она отмечает, что «страсть — очень полезная вещь. Только надо пытаться изменить направление страстей в каждом данном случае. А изменять направление страстей на пользу человеку — значит поставить на службу обществу огромный запас энергии. Ветер в океане — бешеный враг шлюпки, если направлена она против его стихии. Но он — великий друг шлюпки, если дует в ее паруса.

Высокие страсти — великий дар человека, его огромной задушевной энергии. Направить его по другой дороге, например, на служение народу, на сублимацию в творчестве, на подвиги и во имя новой, гуманной цели, на путь самоотдачи, связанный с верой в Добро, с деятельностью сердца, с любовью — вместо того, чтоб бесплодно топтаться этому чувству у божьего порога в ожидании приема или принести в жертву полезную людям активность бесполезным душевным изживаньем себя в молитвах и созерцаньях».

В этих словах кроется ключ к пониманию той неукротимой страстности, которой обладала Мариэтта Сергеевна, когда речь шла об общественно важных делах, об утверждении высших идеалов и чувств. Страстность она проявляла не только по отношению к внешнему миру, но и к своей внутренней жизни.

«Живя свою жизнь вторично, описывая и осмысляя ее, вижу сейчас то, чего не видела и не понимала тогда, например, роль реалистического искусства для нашей памяти. Простые истины лежат сейчас передо мною о простых вещах. Фотография, как правило, исторически не запоминается. Но искусство, настоящее искусство, всегда запоминается, потому что передает действительность вместе со своим временем, имеет протяжение во времени, окаймлено волнами всей двигающейся реальной действительности, именуемой жизнью.

Внешний миг и внутренний миг — разные вещи, но совпадающие в своей вневременности, как бусины без связующей нити. В своей нахичеванской изоляции от московской среды и ее утонченной интеллигенции, ставшей к тому же почти сплошь реакционно-шовинистической, я начинала чувствовать несерьезность, непригодность для работы сознания, для помощи в этой работе именно

тех божков, которыми раньше увлекалась и за которыми шла. Дорога, по которой шла за ними, как-то незаметно стала сходить на нет, не ощупываться под ногами. И тут произошло, казалось бы, незначительное, неважное, в тот день совсем постороннее, а сейчас вспыхнувшее в сознании событие.

Перелистывая сумрачные и аккуратные страницы моих дневников тех лет, в которых, с тогдашней моей точки зрения, шли со дня на день «формулировки» самого важного, что представлялось мне важным, — все еще с оттенком книжного умничанья, — вдруг я наткнулась на неожиданные несколько строк. Они выпадали из обычного тона и уровня записей. Странно мне показалось уже и то, что я почему-то записала их, хотя, казалось бы, они относились к неинтересным для меня и совершенно посторонним вещам. В субботу, 28 января 1917 года, значит, еще до наступленья Февральской революции, мелким и ясным своим почерком с ятями и твердыми знаками (наше поколение с ними писало грамотнее, чем нынешняя молодежь без оных!) я четко записала: «Разговаривала с Надеждой Тобиевной, она сообщила, что Блок захотел ставить «Розу и Крест» реалистически и потому отказался от музыки Гнесина».

Первое моё чувство тогда — ярко вспомнила — было огорченье за Гнесина. Михаил Фабианович Гнесин был одним из близких моих друзей на Дону. Ранние его опусы и наброски к «Царю Эдипу», им самим игранные нам с Линой на рояле, производили на нас впечатление тонкой, «интеллектуальной» музыки, похожей на стихи Вячеслава Иванова».

Трезвые размышления Мариэтты Шагинян по этому поводу привели её к ответу на вопрос, почему Блок отказался от музыки Гнесина.

«А Блок отказался от музыки Гнесина, потому что хочет поставить «Розу и Крест» реалистически». Это странным образом напомнило мне состояние многих моих друзей после Февральской революции, когда эта революция у нас на Дону на глазах мыслящего, политически развитого ростовского пролетариата стала сползать в кашу, в непрерывное словоизвержение Временного правительства, в хаос расстроившегося людского быта, разложившегося транспорта, в галиматью учреждений, к висящим на крышах поездов, на ступеньках трамваев отчаянным людям, добывающимся нужного им передвиженья куда-то. С ходом Февральской революции росла и усиливалась эта безалаберная суматоха — и друзья мои, силившиеся сохранить свой устойчивый уклад, кричали, качаясь в общественной неразберихе как на веревочной лестнице: «Довольно, довольно, хочу реалистической постановки — реализма!»

Труд в жизни и творчестве Мариэтты Сергеевны был предметом неустанных размышлений, самых разных подходов, раскрывающих многие стороны основного источника и содержания человеческой жизни. Ключом к пониманию сущности

труда и его влияние на формирование человека послужил разговор с армянским земледельцем села Чалтырь. Своё целостное понимание ценности труда она в концентрированном виде изложила в статье «Труд как живой фермент».

«Посмотрим на самый, казалось бы, простой, примитивный труд на земле, — писала она, — все равно — сколком кремня или новейшей сельскохозяйственной техникой производимый, разглядим самое показательное в нем. Почему он нас кормит? Что с нами было бы, если б мы посадили одну картофелину и выросла бы из нее тоже только одна картофелина? Зачем тогда сеять и сажать? Великая тайна природы, тайна земли в том, что природа, мать-земля, отвечает трудом на труд, процесс, совершающийся между ними, обоюден, вершится двумя силами, хотя одна считается живой, а другая неживой. Земля размножает зерно, размножает картошку. Армянский пахарь из села Чалтырь под родным городом моей матери Нахичеванью-на-Дону, когда я как-то воскликнула: «До чего же тяжел ваш крестьянский труд!» — ответил мне: «Он нам не тяжёлый. Потому что, видишь ли, земля отвечает». Земля отвечает. Металл отвечает резцу. Глина отвечает пальцам скульптора. Бумага отвечает под пером поэта, писателя. Человек отвечает человеку... Все отвечает на посеянное нами, доброе и злое».

М. С. Шагинян, не останавливаясь на экономической и политической стороне труда, вскрывает его нравственный, психологический смысл. «Если перевести формулу судьбы на арифметику, то в знаменателе моем после смерти отца стояла бесконечность, а в числителе — очень важное обстоятельство, всплывающее над всеми причинами: необходимость труда».

Развивая эту мысль, Мариэтта Сергеевна далее писала: «Я как-то мало задумывалась над тем, что вся моя жизнь в Питере и после Питера, помимо ее эмоциональной стороны, была, в сущности, с самого утра заполнена этим ведущим и организующим фактором — необходимостью труда. Он был постоянен, присущ самому течению времени, увеличивался с годами, потому что трудиться нужно было уже не только для себя, кормить надо было уже не только себя. И медленно-медленно, как крупинки в песочных часах, накапливалась привычка к труду, покуда количество этих песчинок ежедневного многочасового труда не перешло в качество и чувство необходимости не превратилось в потребность».

Вот эти переходы из количества в качество — они создаются самим временем: каждый такой переход есть своеобразная «обратимость» времени, обращенность его в самом себе, и нет ничего прекрасней из всех действий времени, чем это могучее превращение труда человека (расхода его энергии) из необходимости в потребность».

Для Мариэтты Шагинян труд — это и необходимость, и потребность, и созидание, и самоотдача, и наслаждение, и творчество, и деятельность на благо других.

«Труд определяется многими своими. Он и соотношение человека с природой, соотношение, в котором он не только изменяет природу, но изменяется сам пробуждением дремлющих в нем самом сил. Труд — это и наслаждение, способное увлечь того, кто трудится, своим содержанием и способом его исполнения, но труд может быть и неспособным увлечь рабочего, механическим. И целесообразная воля, необходимая для свершения труда, оказывается тем более необходимой в рабочем, чем непривлекательнее его труд. И труд называется игрой физических и интеллектуальных сил, когда он трудящегося увлекает».

Труд, работа, самоотдача спасает человека при всех кризисах, при всех тяжелых жизненных обстоятельствах, высветляет темноту в душе, помогает забыть любое страдание, снимает любую душевную боль. Наслаждение трудом снимает физическое и умственное напряжение, отодвигает грань утомления. «Труд — свой, своим трудом заработанный хлеб, потому что никто другой не заработает его для тебя, — это величайший воспитательный фактор на земле, вырабатывающий в человеке уваженье к самому себе, к своим силам».

Особо возвышенное отношение было у Мариэтты Шагинян к труду как творчеству, как к созданию чего-то нового, лучшего, прекрасного. Творческий характер труду придает не материал, не техника, а человек.

«Я убеждена, мне предстает это как неоспоримость, — механической работы вообще нет на земле, творческой энергией начинен каждый атом материи, может быть, сочетание этих атомов, творческая сила рождения нового в них у одного явления природы (в том числе человека) больше и потому заметней, у другого меньше и потому незаметней...

Итак, два критерия, две истины, рожденные опытом многолетней, упорной, все более и более счастливой для автора творческой работы, осознанные мною на старости. Мера насыщенности познавательным материалом (ни перенасыщенности, ни недонасыщенности!) — для зарождения момента полноценного творчества, полноценной отдачи. И присутствие в каждой работе добавочного икса нового, чего не было вложено сознательно в материал».

О необходимости творческого труда Мариэтта Сергеевна писала много раз. Так, после прослушивания Четвертой симфонии Чайковского она позже вспоминала: «Я, отдавшись только слуху, ничего не помня из тогдашних разборов и рассуждений музыкальных критиков, игнорируя «национальное», просто не замечая, не обращая на него внимания, почувствовала в нем тему счастья труда, нарастающий гимн работе, откровенное излияние композитора о победе своей над всеми душевными кризисами и над неверием в свои силы, — могучим шествием труда, победоносного труда, из части в часть, из темы к теме, из образа в образ, торжеством свершаемой работы над царством звуков, творческой властью над стихийным их буйством».



*«Творческий труд» — это
любимая работа человека. Это
такой творчество, он как
во всей своей природе. Это
так, как он работает.*
Мариэтта Шагинян

Многое можно понять об отношении М. С. Шагинян к труду как творчеству из её беседы с сестрой Линой.

«Помню, после Четвертой симфонии я долго и восторженно говорила Лине, какое счастье дает человеку творчество — ничего больше не надо, только неугасимо гореть самоотдачей, давать и давать, чувствуя, что ты неиссякаем, что ты переливаешься через край от душевной полноты... И до чего я благодарна самому времени, потоку его за то, что оно стало драгоценным каждой своей минутой. За то, что не оставляло крупинки для всего того, что было «посторонним»: расходом сил на болтовню, хождение в гости, прием гостей, увлечение людьми, ненужными сердцу, на все, что связано с богемой, с затратой энергии впустую, отнятой у часов творчества, труда, учебы, мышления... Мышление — тихое, медленное, в одиночестве, но вместе с природой, с прогулкой, с ритмикой дыхания и пешего хождения — вот единственный допустимый отдых для творца! И тогда в ответ на эти слова Лина как-то странно посмотрела на меня. У нее были удивительные, далекие глаза-звезды. Когда она уходила от меня навеки, она тоже смотрела на меня этими далекими глазами-звездами... Я ждала после моего гимна времени сочувственного отклика, и вдруг она сказала, издали, словно себе, а не мне, странным голосом: «Какие они эгоисты, эти творцы, и какие они несчастные!»

Мне в ту минуту не хотелось задумываться над ее словами «какие они несчастные!», не хотелось понять их. Я была захвачена своими мыслями о выходе из несчастья — в труде и работе, и будущее казалось мне светлым: вот так — из нужды в привычку, из привычки в потребность — направленная система жизни, и она дает, если труд будет удовлетворяющим, огромное, спокойное счастье. Направленность — но не сразу, а в поисках, из формы к форме, как в метаморфозе растений. Без нее, без собственной выработки этой направленности (для чего жить? как можно жить без пользы для других? что может быть больше счастья от удовлетворенности своим трудом, своим творчеством? что нужнее для советского человека, как не память о местоимении «ты», о другом человеке, ближнем, дальнем, но реальном, как и ты сам, для кого ты творишь, — о миллионных реальностях этого «ты», составляющих человечество?), без работы мозга, чтоб выработать эту нравственную направленность, нет и не может быть счастливой судьбы человека! И опять словно издали отозвалась Лина: «Ты думаешь, одной работой мозга можно выработать нравственную направленность жизни?»

Только теперь, в глубокой старости, я понимаю, что хотела сказать Лина и как остеречь меня. Нельзя — и не надо — обходиться человеку без «лишнего», без траты впустую. Ведь и время течет со шлаком, с отбросами, потому что течет в нас самих. Нельзя быть только творцом, забыть в себе долг простого человека, отца, матери, гражданина, члена общества, даже простого Ивана Ивановича, которому не дана «искра божия» творчества и который в каждом из нас где-то

на самом дне бытия существует... все надо человеку... и грешить, и ошибаться, и разбрасываться, и быть щедрым, потому что все это, сжимаясь, входит в творческий акт... И пребывая всю жизнь в самозабвенном труде — творчестве, уподобляясь теургу, несешь великое наказание одиночеством, наказание потерей способности быть с людьми, быть простым, одинаковым с ними, непосредственным человеком...» Это был один из многих уроков, который Мариэтта Шагиняня получила на всю жизнь в Нахичевани.

Сегодня стоит только поражаться вопиющему противоречию между взглядами М. С. Шагиняня и теми представлениями современных законодателей, которые в качестве меры наказания за мелкие преступления назначают принудительный труд и тем самым превращают его в непреодолимую тягость, в отвратительное дело.

Своё понимание роли труда, творчества в жизни человека Мариэтта Сергеевна воплотила в художественных произведениях, в очерках, статьях. Так, в одной из первых работ — повести «Перемена», написанной на материале жизненных впечатлений, главный герой — Яков Львович записывает в тетради: «Ошибочно думать, что вопрос о труде разрешим в плоскости социальных отношений. Забывают о психологии труда. Если труд — обязательство, да еще тяжкое, да еще Volens-noleus, то на такой почве ничего не построишь. Труд должен удовлетворять человека. Отсюда: он не смеет быть механичным. Не механично лишь творчество, и труд должен быть творческим. Но творческий труд не утомляет, не насилует, это не обуза, а счастье. Я могу работать творчески по двенадцать — шестнадцать часов в сутки, и меня надо силком отрывать: сам не в силах остановиться. Отдыхаю — для него же. Утомляет меня не он, но, наоборот, невозможность ему отдаться, помеха, рассеяние». Эти мысли были созвучны мыслям автора повести и подтверждались на многих примерах из жизни художников, музыкантов, поэтов...

Трудно представить себе, чтобы утомлённый службой специалист или любой творец, восемь-девять часов занимавшийся одним и тем же, наполнивший свои уши, глаза, пальцы, нервы одним и тем же предметом, не захотел бы, окончив работу, расправить плечи, выйти на воздух, сбросить монотонный ритм целого дня, чтоб дать себе отвязаться от него хоть на время и передохнуть. Но музыкант, утомленный учениками, не откажется пойти вечером, после целого дня занятий, со своим инструментом в футляре — занять место в трио или квартете и снова отдаться музыке. И тут надо прибавить ещё одно: утомляется от музыки гораздо меньше, нежели слушатель в зале, только воспринимающий, но не участвующий в ее делании.

Мариэтта Сергеевна в Нахичевани научилась учиться всему дельному, полезному и доброму. У родителей, родственников, знакомых она, как губка впитывает влагу, вбирала в себя крупицы житейской мудрости, мастерства и уважительных

человеческих отношений. Здесь она в полной мере испытала радость общения с разными людьми, овладела искусством ладить с каждым человеком. Эта наука давалась ей нелегко. Стараясь быть, по возможности, самостоятельной в суждениях и поступках, обладая характером и волей, она во многих случаях проявляла твердость и непреклонность в отстаивании своей позиции. С тех пор она постоянно осмысливала и переосмысливала опыт освоения знаний и умений, передачи знаний от одних к другим, осознавала великую миссию учителя.

«Дедушка, отец моей матери, Яков Матвеевич Хлытчиев был образованный купец первой гильдии, благообразный на старости, с подбородком, похожим на подбородок Бисмарка. Его мать, а наша прабабка, известна мне только по рассказам. Она совершила путешествие в Иерусалим, «ко святым местам», и получила поэтому прозвание «хаджи-мама», с ударением на последнем слоге. Запомнилась своим внукам повязанная черным головным платком, восседавшая на высоком стуле у окна и проклиная окружающих острым, как уксус, голосом. Когда мы шалили, тетки часто грозили: «Вот вырастешь, будешь как хаджи-мама». Дед Яков Матвеевич обожал свою жену, одарившую его двумя десятками детей. Как было тогда принято у богатых нахичеванцев, он заказал тогдашнему учителю, обучавшему его многочисленных дочерей, знаменитому впоследствии поэту Рафаэлу Патканяну, написать о ней хвалу. Патканян создал особый жанр семейной «эклоги» — восхваления в виде писем к другу о высоконравственной матери семейства, об ее доме-очаге, о том, как велся и управлялся ею этот дом, о прислужниках, порядках, организации, воспитании детей. Книга была напечатана в местной армянской типографии, переплетена, снабжена вкладышем с многочисленными фотографиями всех детей — там и головка моей матери, младшей в семье, и подле нее — самой младшей, тети Сани. Книга эта хранится в ереванском Литературном музее, имеется она и в моем семейном архиве.

Все, о чем я пишу, осталось в памяти от коротких наших наездов, начиная с моего одиннадцатилетнего возраста (девятилетнего сестры), на побывку в Нахичевань-на-Дону.

Много-много раз в жизни мне рассказывали разные люди свою биографию — и всякий раз они останавливались особо любовно, подолгу на образах учителей той школы, где когда-то учились. Вспоминали они не содержание урока, не стандарт, общий для всех школ, а нечто характерное, индивидуальное, присущее своим учителям: их особенности, жесты, походку, манеру вести урок, — и вместе с этим неповторимым, личным, запоминающемся в учителе, — то ценное, что было от него получено, может быть — в одной фразе, в одном наказанье, в одной похвале. Учитель на всю жизнь запоминается людям как личность, как характер, как индивидуальность.

«Мне кажется, сила действия урока, его запоминаемость, а главное — органическая сплетаемость чего-то узнанного умом с чем-то вошедшим в волю и совесть, то есть идеал сцепки обучения с воспитанием, целиком зависит не от каких-нибудь теоретических ухищрений ученых — идеологов и методистов, а именно от личности самого учителя, от его персонального обаяния, от оригинальности его характера, от выразительности и интересности его поведения в классе.

Человек — в данном случае педагог, — только человек несет в самом себе связь мышления с деланием, сознания с нравственностью, разума с поведением, — и только сам человек, если он не формалист, не сухарь, не превращается в «от — до», может в школе «образовывать», то есть давать цельный образ ребенку, ученику, одновременно снабдив его знанием и нравственными устоями, одновременно научив и воспитав. Надо это крепко помнить, когда мы ставим проблему усовершенствования учителей: без свободного развязывания творческой инициативы педагога, без свободного проявления его творческой личности, без внимания к его индивидуальности, характеру, склонностям, одним напихиванием новых и новых «предметов» на курсах усовершенствования, мне кажется, мы не сможем создать нужный нам тип социалистического педагога».

Эти слова Мариэтты Шагинян сохраняют значение и для современной школы, для учителя наших дней. Особое внимание она обращает на необходимость исторического метода изложения научных истин: «Ни одно знание не родилось абстрактно, — писала она, — само по себе. Оно родилось в силу необходимости, потому что человеку, чтоб жить и развиваться во времени, нужно было считать, мерить, делить, строить, определять, находить, готовить, — и он шаг за шагом учился это делать сперва по буквам, потом по словам, потом по фразам, — и «правило» и «формула», такие абстрактные вещи на вид, заключенные в значки и цифры, родились у человечества как сгустки величайших конкретностей».

Она неоднократно повторяла мысль о том, что «истина никогда не рождается сразу, к истине подходят постепенно, шаг за шагом. Но к истине никогда не может подойти тот, кто ищет ее со страхом, запрещая себе думать откровенно, кто, иначе говоря, сам себе лжет и сам себя обманывает. Такой человек, чем больше он живет, тем дальше он будет отходить от истины».

В наследии М. С. Шагинян можно найти много размышлений о науке образования и воспитания — педагогике. Истоки этих размышлений лежат в Нахичевани, где она имела возможность наблюдать множество житейских, бытовых, порой ритуальных правил, имеющих воспитательное значение. По её мнению, педагогика — это «наука наук», считавшаяся в древнем мире, по существу, единственной «специальностью», за которой следовали все другие, — специальностью передачи мудрости, передачи опыта и знания от обладающего ими к не обладающим ими, — педагогика, научение истине, наставление знанию.

Кажется странным, что эта высокая деятельность, которую считали основой для себя гиганты мысли от Сократа до Льва Толстого, деятельность, вызывавшая величайшее уважение во всех культурных странах, остается как будто в стороне, когда решаются судьбы развития наук.

Невнимание к проблемам педагогики объясняет отчасти некоторое отставание в области гуманитарных наук и отрыв этих наук от естествознания, — отрыв как раз по той прямой, практической линии, которая служила в прошлом именно для их связи. Старая средняя школа (гимназия), которую много лет назад пришлось заканчивать мне, готовила и выпускала учащихся на право быть «домашними учителями»; так и стояло в аттестатах, вручавшихся нам после завершительного экзамена, — «окончила на домашнюю учительницу». Дополнительный класс, восьмой, имел в тогдашних гимназиях свою особую, очень определенную программу. Если в семи основных классах мы осваивали «предметы», то есть три-четыре языка, историю, географию, естествознание, арифметику, математику, физику, то в восьмом классе мы возвращались к тем же самым предметам, но совсем уже под другим углом зрения: мы изучали, как эти предметы преподавать другим, на уроках, носивших новые названия: методика русского, немецкого, французского языков; методика математики и физики; методика истории и географии; методика естествознания.

Методика, то есть изучение новейших методов наиболее успешной деятельности преподавателя, сама по себе — предмет гуманитарный не только потому, что она требует логики и психологии, но и потому, что она теснейшим образом связана с историей. Еще Тимирязев страстно пропагандировал исторический метод в биологии. Гете, чтобы обосновать свою теорию цвета, занимающую у него в книге несколько десятков страничек, подошел к ее изложению, рассказав всю историю науки о цвете с древнейших времен и до современных ему дней, и эта историко-методическая часть заняла у него в книге около тысячи страниц. Нужна ли читателю эта часть? Абсолютно. Помогая понять суть, положительную сторону открытий Гете в области цвета, она в то же время обнажает и ошибочную сторону его теории.

Исторический метод, мобилизуя память человечества на всем протяжении пути, по которому шла и развивалась его мысль в данной отрасли науки, облегчает понимание этой науки, открывает перед учеными перспективу ее дальнейшего развития, популяризирует науку для миллионов неученых. Любая точная наука, вырванная из исторического метода ее познания, вырванная из исторического фона и социальных координат, является голой абстракцией без начала, но уже с заданным концом, так как перспектива ее развития возникает в своем полном объеме лишь с широким пониманием и представлением ее исторического прошлого.

Но и более того, исторический метод в любой науке неизбежно должен связывать науку с практикой, с представлением о ее цели, о том, для чего она нужна. Возникновение любой, самой абстрактной науки — астрономии, математики — сугубо практично. Людям нужно было исчислять время, измерять предметы, делить и мерить землю и материальные продукты, и вот в этой изначальной точке своего зарождения в человеческом мозгу».

В педагогической деятельности М. С. Шагинян больше всего ценила отдачу — отдачу всего лучшего, чем располагает учитель, отдачу знаний, чувств, переживаний, отдачу всего самого себя.

Многие уроки, которые она получила у нахичеванских армян, вошли в копилку её творческой деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В одной книге невозможно передать всё богатство мыслей, чувств, переживаний, размышлений Мариэтты Шагинян, связанных с жизнью в Нахичевани. Она вошла в её духовный строй, служила источником творчества и нашла отражение в её обширном литературном наследии. Однако даже то, что здесь представлено, помогает глубже понять быт, культуру, привычки, вкусы, нахичеванских армян в начале XX века, а заодно и необыкновенную творческую личность Мариэтты Сергеевны.

Можно без всякого преувеличения отнести её наследие к числу великих достояний армянской, российской, мировой культуры. Хорошо известно, что всякая культура возникает и развивается не на пустом месте, не с нулевой отметки. Она питается достижениями прошлых поколений и передается новым поколениям. Историческую миссию освоения духовных ценностей прошлого, переосмысления их применительно к новым историческим условиям и передачи в будущее блистательно выполнила М. С. Шагинян.

Естественно, далеко не все и не всеми одинаково воспринимаются те ценности и предпочтения, которые она утверждала своей жизнью, своим трудом. Вместе с тем можно надеяться, что и в наши дни такие качества людей, как жизнелюбие, трудолюбие, человеческое достоинство, правдивость, творческое отношение к делу, которые она наблюдала в жизни нахичеванских армян, не потеряли своего значения.

Всем, кто стремится к лучшему, светлому, достойному, кто намерен утверждать в жизни истину, добро и красоту, духовное наследие Мариэтты Сергеевны Шагинян является незаменимым источником сил на этом пути.







подпись под фото подпись под фото подпись под фото подпись под фото
под фото подпись под фото подпись под фото подпись под фото подпись под фото
под фото подпись под фото подпись под фото подпись под фото подпись под фото
подпись под фото подпись под фото подпись под фото подпись под фото подпись
под фото подпись под фото подпись под фото подпись под фото подпись под фото
подпись под фото подпись под фото подпись под фото подпись под фото подпись
под фото подпись под фото подпись под фото подпись под фото



Доцент Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова Наталья Мещерякова, в рамках осуществляемого ею в Ростовском музыкальном театре проекта «Музыкальные путешествия», предприняла музыкально-исторический экскурс в прошлое Нахичевани-на Дону, на который пригласила... Сергея Рахманинова. Известно, что композитор, бывая в Ростове-на-Дону, гостил и в доме своей юной поклонницы Мариэтты Шагинян. Наталья Алексеевна Мещерякова вместе с коллегами — артистами музтеатра Юлией Щербаковой, Лусинэ Агаджанян, Анной Савченко, Дмитрием Авериним, Юлией Изотовой, Владимиром Кабановым, Еленой Кузнецовой, Эдуардом Закарян — воссоздана картинку из жизни старой Нахичевани. Загримированная под нахичеванскую матрону начала прошлого века, Наталья Алексеевна вышла к публике в образе матери Мариэтты Шагинян Пепронэ. В роли самой Мариэтты, которой Сергей Васильевич адресовал в свое время ставшие хрестоматийными строки «...кроме детей музыки и детей, я люблю тебя» выступила лауреат международных конкурсов Татьяна Климова. В качестве консультанта, рассказавшего актерам о Нахичевани прошлого, был привлечен известный ростовский краевед Минас Георгиевич Багдыков. Вместе с артистами театра на сцену также были приглашены исполнители народной армянской музыки национального ансамбля села Чалтырь.



Дом №8 по 24-й линии Пролетарского района города Ростова-на-Дону (в прошлом город Нахичевань-на-Дону), принадлежавший семье близких родственников Мариэтты Шагинян. В доме, по воспоминаниям коренного нахичеванца Никиты Георгиевича Дюргерова жила и с сама писательница в 1910-20-е годы. В этом доме бывали художник Мартирос Сарьян, педагог музыки Михаил Гнесин, композитор Сергей Рахманинов. другие выдающиеся деятели культуры и искусства тех лет.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7
Глава 1. Из автобиографии Мариэтты Шагинян	8
Глава 2. Многомерность личности Мариэтты Шагинян.....	10
Глава 3. Армянская нахичеванская колония в памяти Мариэтты Шагинян.....	22
Глава 4. Мариэтта Шагинян в годы крутых перемен.....	30
Глава 5. Музыка в жизни Мариэтты Шагинян. Встречи с Сергеем Рахманиновым.....	39
Глава 6. Нахичеванские уроки.....	45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	59

АВДУЛОВ Николай Степанович
МИРЗАБЕКОВА Нонна Владимировна

**МАРИЭТТА ШАГИНЯН.
Нахичевань в жизни и творчестве**

Дизайн, вёрстка — Татьяна Мелихова
Корректор Жаннета Кирпилёва

На обложке:

Портрет Мариэтты Шагинян. Мартирос Сарьян, 1919 г., х. м.

Формат 210x210. Бумага мелованная, 90 г/кв.м.

Тираж 500 экз. Заказ № 4446

Издательство ООО «Ковчег»

344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59 к,

e-mail: nnd@aanet.ru, +7 (863) 219-59-44.

Отпечатано в типографии «Аркол»:
г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 45/54.

